

Ц 84(2 Рос=Рус) 6
К 65

Н. Коняев

Отголоски-
отзвуки



Николай Коняев

Отголоски-отзвуки

Рассказы
и документальное повествование

Ж

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ю. МАНДРИКИ

Тюмень, 2000

Ханты-Мансийская
государственная
окружная библиотека

62 728-2
КО

К
ББК 84.4

К 64

84(2Рос-Рус) 6

К 64 КОНЯЕВ Николай Иванович

Отголоски-отзвуки: Рассказы и документальное повествование/Предисл. В. Захарченко. — Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 2000. — 288 с.

В книгу писателя из Ханты-Мансийска Николая Коняева вошли рассказы, написанные автором в 1984–1999 гг., и документальное повествование «Возрождение, или Версия жизни и смерти гражданина из города Березова Коровьи-Ножки».

© Коняев Н.И., 2000.

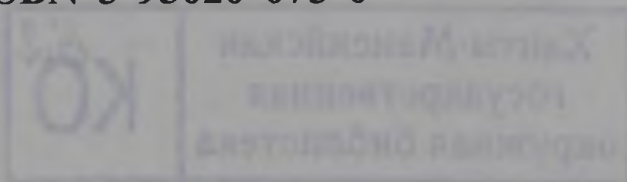
© Захарченко В.И. (предисловие), 2000.

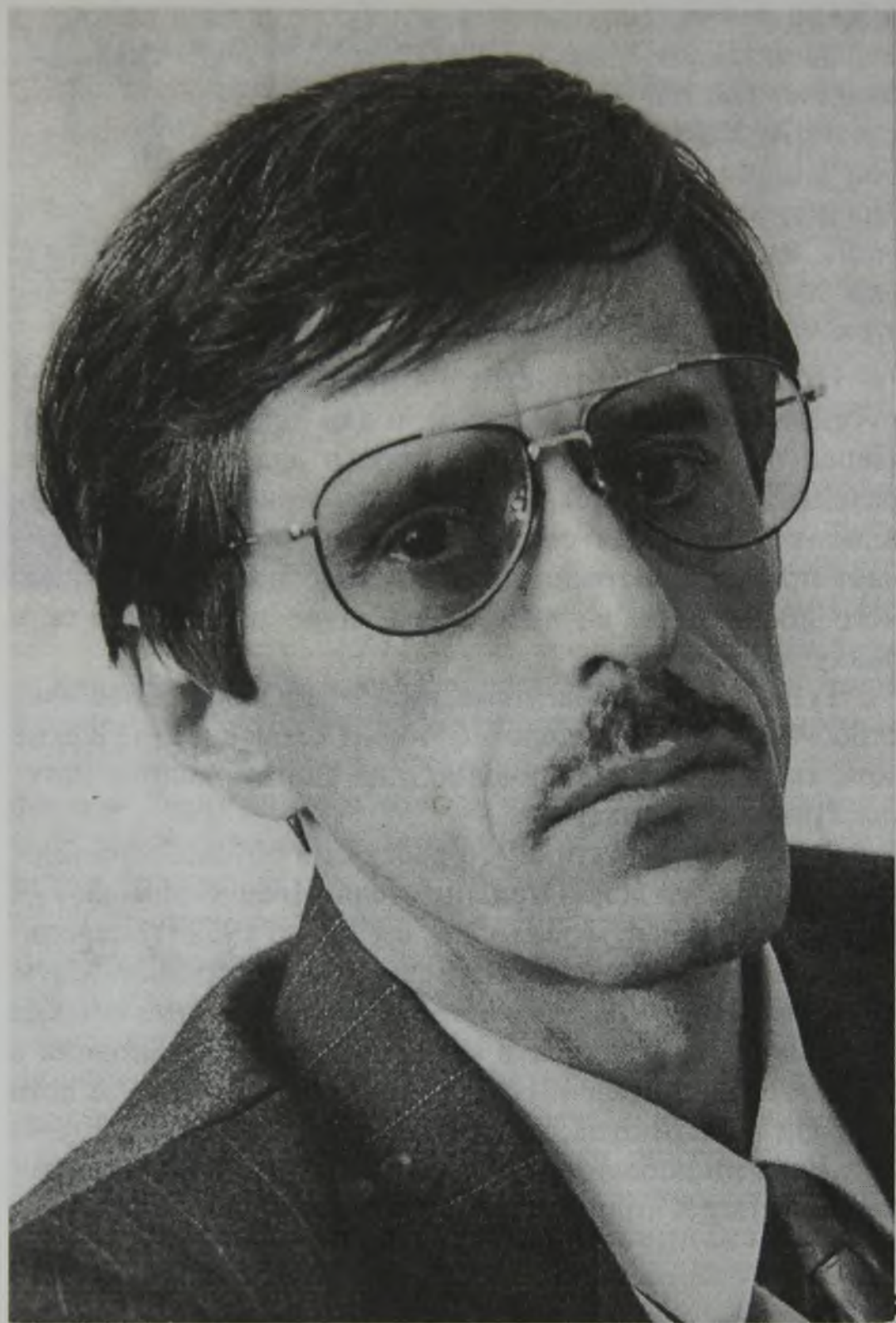
© Кухтерин А.С. (иллюстрации), 2000.

© Комитет по СМИ и полиграфии ХМАО (издание), 2000.

© Издательство Ю. Мандрики (оформление), 2000.

ISBN 5-93020-075-0





О рассказах Николая Коняева

Последнее десятилетие — не лучшие времена для русской прозы. Как, впрочем, и для искусства в целом. Перед писателями встает вопрос о дальнейших путях развития литературы. Где та мера новизны, что приносит в творения свежесть и разнообразие, но и не дает прерваться традиции? Как сохранить все лучшее, чего достигла наша литература, и не превратить ее в лавку антиквариата?

Тут в дело вступает «натура» — то внутреннее чувство, что ведет писателя по полям словесности. Какие же факты биографии повлияли на формирование натуры Николая Коняева?

Во многом тематика его рассказов обусловлена биографией родителей. Отец писателя Иван Ефимович — из рабочей семьи, фронтовик, с 1947 по 1952 гг. невольный участник известной на Севере 501-й стройки. Мать, Василиса Егоровна, — из семьи раскулаченных омских крестьян. Север вошел в судьбу Николая Ивановича с генами его родителей. Не писать об этом он не мог хотя бы ради памяти отца, умершего в 1965 году в возрасте 44 лет. Вряд ли добавили ему долголетия фронтовая контузия и пять лет приполярного «курорта».

Родился Николай Коняев в селе Нялино 1 января 1954 года. Места его раннего детства — ныне не существующие ни на картах, ни в природе, так называемые бесперспективные деревни и поселки Майка, Конево, Сеуль... С 10 лет рос будущий писатель на родине родителей, в селе Камышино-Курское Большереченского (ныне Муромцевского) района Омской области. Первые сказки и легенды ему довелось услышать от бабушки по материнской линии, прожившей 109 лет. Именно тогда, в детстве, под впечатлением красочных иллюстраций первых книжек решил: когда вырастет, будет рисовать такие же.

Через детство входит в его творчество русская деревня 60-х—70-х годов. С какой любовью и болью пишет Николай Коняев о ее немудреных жителях, как будто пытаясь вернуть хоть толику добра, подаренного ими. Не случайно писатель считает своими литературными учителями Василия Белова, Василия Шукшина и Виктора Астафьева — крупнейших мастеров деревенской прозы.

Но по-настоящему, серьезно он попробовал «нарисовать» свою книжку только в 30 лет — в 1984 году, когда написал и опубликовал в газетах несколько коротких рассказов.

До того, можно сказать, прошел огонь, воду и медные трубы: работал разнорабочим в совхозе «Копьевский», учился в пединституте, служил в армии, потом опять учился — окончил Омский филиал Всесоюзного финансово-экономического института. В 1975 году приехал в Ханты-Мансийск, где побывал в роли экономиста, финансиста, журналиста и даже сторожа.

Север — важная веха в жизни и творчестве писателя. Вот как пишет об этом в предисловии «Без права на

благодарность» ко второй книжке Николая Коняева «Перековка» (1993) известный писатель Анатолий Приставкин: «И в повестях, и в многочисленных рассказах показана обычная повседневная жизнь простых людей северной провинции, в чем-то схожая с нашей, а в чем-то нет, но очень узнаваемая и достоверная, благо автор живет среди своих героев и может рассказать о них то, чего мы не знаем. И здесь очевидно влияние и наших «деревенщиков», того же Виктора Астафьева, и более глубокие корни, уходящие в бунинские и чеховские традиции с их пристальным вниманием к «маленькому» человеку, подверженному всем напастям, грозящим от этого мира, но почему-то еще существующему, еще живому».

Ханты-Мансийск соединил в себе все, что так или иначе было близко и дорого Николаю Коняеву: полудеревенская-полугородская жизнь маленького провинциального городка, крепкий вольнолюбивый люд, прошедший сталинские перековки, сорванный с земли, сосланный, перемешанный на этапах и в лагерях, но в огне не горящий и в воде не тонущий, верящий: неправда сильна, да правда вечна!

Поиски своего места в жизни приводят Николая Коняева в Литературный институт им. А.М. Горького, который он заканчивает в 1993 году, проучившись шесть лет в семинаре Анатолия Приставкина.

Сегодня Николай Коняев — ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России, главный редактор окружного литературно-художественного альманаха «Эринтур», член правления Союза писателей России. Он — автор книг прозы «Сборщик дани» (1992), «Чужая музыка» (1994),

«Околоток Перековка» (1996), не опубликованного, к сожалению, до сих пор романа «Жажду света» и других произведений. Их отличают хорошая выучка, крепкая словесная ткань, сочетание добротности, основательности с талантливыми находками. Приверженность классическим традициям, заряд здорового консерватизма дают автору возможность быть свободным от всех идеологий, кроме идеологии сердца.

Перед вами новая книга, составленная из рассказов, написанных в период с 1984 по 1999 годы, то есть за пятнадцать лет работы в любимом писателем жанре. Собранные под одной обложкой, они представляют собой явление многомерное и по-новому высвечивают фигуру самого автора.

Следуя глубокой традиции, Николай Коняев приходит, может быть, стихийно к новым, навеянным временем принципам изображения. Предметный мир в его рассказах несет часто более широкое, чем просто образ, символическое значение. Это, несомненно, знак эпохи, попытка отыскать неожиданные пути осмысления действительности, попытка расширить традицию «деревенской» прозы.

Символическое звучание, казалось бы, традиционным образом придают заголовки, действия и высказывания героев, авторские реплики и художественные детали. Они расширяют знаковое пространство произведения, придавая ему глубину и объем, в новом свете показывая героя. Они делают прозу афористичной и ёмкой.

Показателен в этом смысле рассказ «Чужая музыка». Не случайно так названа третья по счету книга писателя. Скрежет и вопли «инострании» слышит Таисья, главная героиня рассказа, сразу после известия о

том, что ревизия обнаружила у дочери Натальи в магазине растрату. «Звучала музыка чужая, непонятная...». «Чужой музыкой» является для Таисьи страсть к приобретательству, к обогащению любой ценой, даже через преступление, захватывающая семью дочери. Чужой — потому что несет другие ценности. Будучи такой привлекательной и доступной, она на деле разрушает нравственность и мораль. Этот рассказ еще раз дает нам понять, что «новые» русские появились задолго до начала перестройки. Вращивались и лелеялись они в «тихое» брежневское время, в обстановке размыва нравственных ценностей. Единицы решались на поступок, понимая, что теряют они с сомнительным приобретением куда больше: ощущение душевного покоя, возможность жить по совести, по правде.

Решение Таисьи — отказ от краденого тёса — возводится в абсолют, в деяние, в символ, определяющий всю дальнейшую жизнь. Нежелание героини существовать по иным, чуждым ей законам, под «чужую музыку» есть факт отстранения, неприятия нравов новой эпохи.

Решение это принимается не логически, не рационально, а инстинктивно, через отвращение души от безбожных начал, грозящих ей гибелью и позором. Отказ Таисьи от «чужой музыки» легко проецируется на неприятие русским миром «перестроечной» жизни, приглянувшейся немногим. Общество, в основу которого не заложены идеи справедливости, народного понимания правды, обречено на противостояние и гибель в силу того, что правила, может, где-то и пригодные, для большинства населения не приемлемы и им отторгаемы. В рассказе «Чужая музыка» мы видим символ такого отторжения.

В оригинально построенном рассказе «Малыги» подводится итог разрушению семейного крестьянского сознания афоризмом, изреченным немудреным отцом — Малыгой, фразой, определяющей суть не только современного городского бытия, но и деревенского: «Едим три раза на дню, и каждый из отдельной чашки...». При внешнем благополучии, достатке безнадежное разрушение родственных уз, потеря связи с землей, с родиной, отдельность человека есть форма утраты, а не благоприобретение, отказ от общности не только в рамках сельской общины, но и семьи.

Герои Николая Коняева порой бесшабашны, будь то Степан Аркадьевич из «Старинного городского романа», или Изот Чагин из рассказа «Изоша Поперёшный». Но эта бесшабашность — не свойство характера, а потребность души, уставшей от обыденности и предательства, от пустословия и глупости: «Степан Аркадьевич как с ума сошел! Все, что было им заслужено по праву за годы безупречного труда и трезвого мышления — почет и уважение, с невероятной легкостью ставилось на карту. Всего лишь ради нескольких минут неизъяснимого восторга!». Солидный человек, семьянин угоняет по ночам машину, чтобы час-другой покататься на ней! А Изот Чагин устанавливает на 7 ноября красный флаг на телевизору, как это делалось в советские времена. Он не коммунист и коммунистом никогда не был. Он протестует против того, чтобы быть покорным, управляемым быдлом, равнодушно принимающим все реформы и революции. Его поступок символичен, в нем выражается право «маленького» человека на свое слово в истории.

Иногда герои рассказов Коняева существуют на бытовом уровне, являясь более фоном, чем персонажем,

но неожиданно в них обнаруживается тайна, чудинка. Таков Ефимов из «Единицы экономии». Таков Егор Андреевич из рассказа «Фролыч и Болтун», который бунтует по-детски, неумело, пытаясь восстановить справедливость, но в конце концов оставаясь всегда виноватым: «Великодушно хмыкнет Фролыч, пальцем ткнет на дверь: «Ступай да больше не чуди. И помни, что обязан!» Егор Андреевич кашляет, сгорая от стыда и унижения, направится к столярке. А шкаф уйдет налево... Он сделает другой. Все будет так, как прежде. Надо потерпеть. А куда деваться?». Но неутолимая жажда правды неистребима в нем. Не выносит он, когда грязноватенькие, ловкие людишки приворовывают, делая благопристойную мину и требуя этого от окружающих.

Есть у писателя и тонкие психологические этюды. Например, рассказ «Коршун». Перед нами предстает, на первый взгляд, легендарная личность — механик-водитель танка, прошедший всю войну, участник Парада Победы... Но не случайно в селе зовут его Коршуном. Поневоле вспомнишь Гоголя и воскликнешь вслед за ним: «И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может стать с человеком!».

Тема Великой Отечественной войны не миновала рассказы Коняева. В наши «светлые» времена демократических ценностей, когда в герои попадают и предатели, и дезертиры: не захотели, мол, воевать за преступный коммунистический режим! — хочется порадоваться твердости ценностных ориентиров писателя: никогда русский народ не прощал предателей, ибо предавали они не Сталина, не Кагановича, а своих боевых товарищей,

свою землю. Потому-то и полтора десятилетия спустя не простили сельчане не только Фимку-Иуду («Отголо-сок»), отсидевшего срок, прощенного государством: «Самолично спросить тебя, шкура, желаю, за сколь кусков проданся, за сколь нашенских жизней свою поганую выкупил? Ты думал все, сполна расплатился? Думал, смыл кровушку нашу с рук своих? Не-ет, не будет тебе, душегубу, на земле покоя!», но и его мать, которая сама-то была ни в чем не виновата. И в этом есть высшая справедливость — несет она страшный крест несмываемого позора. Она — мать предателя, и ей конюх Семен обращает свой укор: «Как же так... Фимка, стервец, вернулся, Фимка будет жить, а мой парнишка?..».

Потому что для этих людей война — не абстракция, не цифры с шестью нулями, а милые, добрые дети — Васятки да Димитрии, в безысходной тоске по которым сходят они с ума, как Мария Егоровна Гололобова из рассказа «Костя-Мариша». Нет выхода из этой боли, из обреченности старых, надорванных на колхозной работе тружеников, понимающих, что род их навсегда прекратился, что не нянчить, не лелеять им внуков, не радоваться счастьем своих детей. Потому и не знают они полумер: полупрощения, полупримирения, полуправды, равнодушия к подлости и предательству. И нам ли, по всем статьям развенчанным и униженным, в бесчувственной покорности наблюдающим за собственным позором, нам ли смеяться над временем героев?

И слава богу, что в душе Николая Коняева сохранилось трогательное уважение к немудреным русским людям, выходцам из великой героической эпохи.

Тем и хорош Коняев, что сумел передать в своих рассказах чистоту народного мироощущения, его ве-

ковой опыт нравственной жизни. Поэтому его герои живут не приверженностью тем или иным идеям, а верностью чувству справедливости, впитанному с молоком матери, унаследованному от далеких предков. Свет добра, пронизывающий души его героев, неистребим даже в самые страшные эпохи. Новая жизнь с ее всепоглощающей тягой к наживе, к воровству, к ловкачеству воспринимается ими как все та же «чужая музыка», денно и ночью гремящая вокруг. Придет время, я верю, когда мы все устанем от этой музыки, как честная и добрая труженица Таисья. Что же останется? «Двести метров позора»? Если б только двести!..

Рассказы Николая Коняева современны, но не злободневны, в них нет погруженности в сиюминутные проблемы. В них чувствуется некая отстраненность, попытка увидеть за фактом, событием нечто большее, соотнесенное с глубинными процессами народного духа. А в результате — от рассказа к рассказу вырисовывается единый образ национального характера, его наиболее значимые черты.

*Виктор Захарченко,
член Союза писателей России.*

Песня в чужом городе



Прыжок с закрытыми глазами



Когда слухи о грядущем сокращении выстрелили вдруг директорским приказом о ликвидации маслозавода, Семен с Потапенкой слегка подрастерялись, но не настолько, чтобы заметать икру, полагая легкомысленно, что уж кому-кому, а им, тридцатилетним слесарям и дизелистам, применение в совхозе все-таки найдется. Но к весне совхоз распался...

Месяц вынужденного отдыха — еще куда ни шло, два — непозволительная роскошь, на третий — впору волком взвыть. И ведь что интересно! Пользуясь, казалось бы, нечаянной свободой — дома дел невпроворот, ан нет, не спорится работа, и дома не сидится. С гнетом-то на сердце! Отчаяние и стыд перед семьей срывают с места, с утра спешешь в поселок с надеждой

хоть за что-то зацепиться. Вот и получается, что самый занятой народ — это безработный.

Весной прошел слухок — в поселке, час езды на мотоцикле, начали строительство кирпичного завода. Мужики — туда, Семен с Потапенкой вдогонку. Завод действительно затеяли, уже смонтировали корпус, но в спешке и неразберихе понадеялись на авось, слепили на глазок да кое-как, что-то там в расчетах напортачили. Заморозили строительство.

Однажды повезло: с одним из поселковых воротил сговорились вылить фундамент под коттедж. Чтобы не терять время на дорогу, вселились в воротилину времянку на участке и закатали рукава. Но только приступили, явилась делегация из трех патриотически настроенных посредников, объяснила, что в поселке все подряды распределены заранее. Не грубо, можно сказать, вежливо, сочувственно предложила чужакам взять самоотвод. Взяли, некуда деваться...

Ох и помотались! Прошли все организации, да ото всюду, как в насмешку, выпроваживали с носом. Взрывом обернулся визит в УЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство. Начальник управления, пожилой шутник, предложил пойти уборщиками улиц... Это им-то, слесарям и дизелистам, тридцатилетним здоровилам! С метлами податься! Потапенко сбледнел от возмущения и послал начальника в одно не очень респектабельное место. И вышел, хлопнув дверью. Семен призадержался, смущенно извинился, на что начальник отмахнулся: ведь он хотел, как лучше, ничего зазорного в любой работе нет — у него, если хотите, в дворниках сегодня заслуженный художник-живописец, кандидат сельскохозяйственных наук и бывший председатель сельсовета...

Потапенко аж трясся на ходу.

— Еще день—два, — стонал, сжимая пальцы в кулаки, — и... это, бомбану кого-нибудь. И рука не дрогнет!

Семен замедлил шаг.

— И долго думал, бомбандир?

— А что еще-то остается? У тебя хоть Шура что-то в дом приносит, а у меня и Полька без работы, с ребятами сидит. А им в школу осенью. Думай, как одеть-обуть. Пачку папирос не на что купить. Скандалы каждый вечер. Это, выйду на дорогу с кистенем, у меня не заржавеет! — Посопел и усмехнулся, глянул сверху на Семена. — Ладно, не пугайся. Насчет бомбежки я, конечно, пошутил. С кистенями в наше время на дорогу не выходят, а на «калашниковая» нам и вдвоем не наскрести.

Пошутить-то он, понятно, пошутил, да по нешуточной тоске в его глазах Семен твердо уяснил: на неделе никакой работы им не подвернется, Потапенко созреет для любого дела. Не отговоришь.

Остановились у щита для объявлений. И сразу бросилось в глаза: «РАЙВОЕНКОМАТ ПРОВОДИТ ОТБОР НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ В ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ...»

Семен уставился на друга.

— Ты что? — не понял тот.

— Зайдем, узнаем, что почем!

— Ты... это, выдумал, ей-богу! — Потапенко струхнул.

Плохо сегодня Семену. Хуже не бывает. И причина не в похмелье, хотя вчера с Потапенкой хорошо контракт обмыли. Подписали все-таки спустя почти два

месяца!.. Похмелье что? — пустяк, в привычку. Плохо оттого, что главное — объяснение с Шурой по поводу контракта — впереди. Не знаешь, как и подступиться. Что с Потапенкой они подписали что-то и не сегодня-завтра отправятся куда-то на «большие» деньги, она уразумела, но что и с кем подписано, куда уедут и надолго ли — вчера он натемнил, напустил туману. Шура сгоряча не разобралась, но ведь успокоится и спросит.

Лучше бы открыться — все-таки в Чечню, не на курорт, но все может разбиться о преграду женской истерии. И что тогда? Опять, высунув язык, мотаться по поселку? Сил уже не хватит...

Держась за ноющую поясницу, Семен с трудом распрямился, уткнул тяпку в землю...

На соседнем огороде через узкий переулок в оранжевом купальнике орудовала тяпкой Потапенко Полинка. Чуть сзади, с тяпкой в длинных и худых, как черенки, руках гнул спину двухметроворостый Потапенко Егор. Там и сям на огородах белели поясницы склоненных мужиков...

«Это ж сколько нас, ненужных? Летом, в самую страду, столько мужиков с тяпками горбатится!» — Семен отер испарину с лица и запрокинул голову: выплывшая из-за горизонта дымчатая тучка зацепилась краешком за гребень заречной горы...

— Что посматриваешь? Жарко? — заметила жена его движение.

— Душно, Шура. Искупаться б!

— Перед грозой, видать, парит. Надо поспешать! — объяснила Шура и заторопилась. — Тяпай, тяпай, не вздыхай. Ходи, Сема, веселей. Вздыхать-то вчера надо было, когда первую рюмашку с Егором подни-

- 62728

мал. Вот походи на солнцепеке, узнаешь, как она, картошка, достается!

— А то я, Шур, не знаю — не в деревне вырос!

— Ты, Семочка, не зна-аешь! Знал, так подзабыл. На заводе работал, некогда было помочь, в безработных оказался — опять руки не доходят. Первый раз и вышел. А я все сама. Посадить — сама, ладно, этот год Витька помогнул, ведра к луночкам подтаскивал... Прополоть — сама. За нею, за картошкой-то, ухаживать, оказывается, нужно... Теперь вот и копать одной придется. Все сама, сама, сама! С работы прибежала, кусок в зубы и айда. Думаешь, легко?

— Ничего не думаю... Витька у нас где? — Семен вспомнил о сынишке.

— Где он может быть? Купается. С утра до вечера в воде. Ты бы поругался... Хотя, до сына ли тебе? Ты в мыслях уже там... Мечтаешь, как смотаешься!

— Ни о чем я не мечтаю, — поморщился Семен. — Ладно, Шур, пилить-то!

— Ладно, видите ль, ему! Ничего не ладно. Я еще не начала, — распалялась Шура. — У других мужья, посмотришь, — тоже, между прочим, сокращенные — устраиваются где-то, что-то да находят, жен не надрывают, семьи не бросают. А вы с Потапенкой намылились. Да был бы, Сема, толк, а то ведь толку, чую... Тьфу! Дома на заводе денег не видал, а там, куда уедешь, и вовсе не увидишь. А впрочем, поезжай! Катись на все четыре стороны, удерживать не стану, что ты есть, что нет тебя. Каб не Витька, так давно бы!.. — Шура осеклась и, мельком взглянув на тучку, буреющую с края, вновь пошла в наклоне по меже. Песчаные крупинки скатывались с гнезд, застревали между пальцами ее крупных босых ног...

— Чего — давно б? — прищурился Семен. — Ушла бы, что ли, а?

— Дудки, Сема! Не на ту напал. Сам бы глаза скрыл, если б захотела!

Семен расхохотался.

— Ты, Шура, перегрелась. Отдохни. Я тоже съезжу, искупаюсь, а то не вмоготу... Егор! — окликнул он Потапенко. — Заводи свой мотик, съездим на протоку, освежимся!

Потапенко Полинка в замедленном расклоне погрозила тяткой.

Лет пять тому назад, чтобы срезать крюк на коровью ферму, протоку перегородили насыпью с поперек проложенной трубой для водотока. Летом вода скатывалась в речку, и закупоренные илом концы трубы торчали с двух сторон дороги. С них-то и ныряла детвора.

— Витя, хватит, накупался! Посинел весь, как цыпленок! — крикнул Семен сыну, но проследил, как тот с оглядкой прошел к краешку трубы, сложил ладони лодочкой и прыгнул, взбив столб грязных брызг. Довольный, вышел на берег и, дрожа от холода, подвел велосипед к отцу.

— Езжай, сынка, домой — дождик вот-вот брызнет. Да мамке помоги там! — поторопил Семен.

Тучка постепенно принимала очертания нависшего над гребнем реликтового ящера, отбрасывавшего тень на лысый склон горы...

— Ну, как спалось сегодня? — полюбопытствовал Потапенко.

Семен пожал плечами.

— Сегодня, как ни странно, крепко. Едва Шура утром раскачала.

— Нервы у тебя! А меня и водка не сморила. Я, признаться, так и не заснул. Раздумался чего-то...

— Теперь чего раздумывать? Назад ходу нет. Теперь вперед, и с песней!

— ... раздумался и... это, — гнул свое Потапенко, расковыривая пальцем углубление в земле.

Семен насторожился:

— Ну, ну, раздумался, и что? Ты договаривай, не мямли.

— Боюсь чего-то я, Семен. Сомнения какие-то... Погорячились мы с тобой. Я чего подумал ночью? У меня же шурин в области... Это, Польшин брат-то. Магазинчик у него. Шмотками торгует. Из Турции привозит. Сам туда-сюда курсирует, а баба продавцом. Вроде, получается... Съезжу, посоветоваюсь... Может, что подскажут. Чем, может, пригожусь. Что на это скажешь?

— Что тебе сказать? — помрачнел Семен. — Пословица недаром, видно, молвится — ближняя копеечка дороже дальнего рубля. Шурин челноком, а ты, значит, подчелночником? Баулы шурину таскать? Хорошее занятие, без риска... Сам придумал, или Поля подсказала?

— Не-е я, Польке ни гу-гу. И не в ближней копеечке дело, Семен. Не в дальнем рубле. Тут все намного проще — жив человек смерти боится.

— Тоже верно. Действуй. Отговаривать не стану.

— А ты? Поехали вдвоем!

— У меня контракт подписан.

— Подумаешь, контракт! Как подписали, так и... это. Денег мы не получали? Пока не получали. Вот и

все, и нет претензий... Дети, Сема... Де-ети! Кабы не они. Кто их на ноги поставит, случись что, не дай Бог? Военкомат? Да он забудет про меня на другой же день! Может, это... передумаешь?

— Давай, что ли, купаться, — сказал на выдохе Семен. — Мы для чего сюда приехали?

— Не купаться я приехал — с тобой потолковать. Наедине, без Польки. Это, не пори горячку, подумай до утра!

«Вот и скис Потапенко! Скис наш бомбардир!» — Семен внешне оставался совершенно равнодушным к такому повороту, будто ничего другого и не ожидал.

Ниже по течению, метрах в двадцати, виднелись старые мостки. Берег был сухим и травянистым. Семен прошел туда, разделся...

У ног в переплетении трав, то и дело опрокидываясь навзничь, сновали сухопутные букашечки с перламутровыми панцирными спинками; низко над протокой, выписывая в воздухе ломаные линии, стремительно носились синие стрекозки; по осоковому стеблю в тихой воде упорно карабкался вверх жучок-плавунец... Вот он достиг зеленого листочка на поверхности, уцепился лапками за краешек, завис, как бы осматриваясь — а что же тут, на суше, интересного? — сорвался, но поплыл не к берегу, а вглубь, ко дну, чтоб вновь начать оттуда нелегкое восхождение...

Разом вдруг стемнело. Со стороны затянутой сизой пеленой горы неслась сорвавшаяся с гребня туча-ящер с надломленным, опущенным до земли крылом... Крупные, как градины, первые капли дождя задробили по плахам мостков, больно хлестанули по плечам...

С непроизвольным выкриком восторга Семен с разбегу взвился над водой. Вынырнул и отдышался, покружив на месте, поплыл вдоль берега вразмашку. Метров через пятьдесят лег на спину и поплыл против течения...

Но дождь не разошелся. Тучу разметало, клочья пронесло, и проглянуло солнце. Край неба подсветился розовым, на глазах перетекал в алые, бордовые тона...

Растирая грудь, Семен устало выбредал на берег. И вдруг остановился. В полушаге от места, куда он совершил прыжок, на глубине двух пальцев двумя четырехгранными штыками торчали связанные проволокой осиновые колья...

Семен неловко потянул кол на себя, но безуспешно. Тогда он раскачал их под водой по одному и, поднатужась, вытащил из няши. И сообразил, что осенью какой-то идиот снял с последнего пролета плахи, а колья опрометчиво оставил под водой...

Выйдя на берег, Семен сел и огляделся — в стороне по-прежнему плескалась детвора.

«И никто бы ничего и не заметил!» — мелькнуло в голове. Он обхватил затылок, откинулся на спину...

А перед глазами на штыках двух кольев крутилось, корчилось в предсмертных судорогах его распластанное тело, и не отблески зари — кровавые потеки расходились по воде широкими кругами...

Сдавленный, короткий вскрик пронесся над протокой до склонов огородов...

В сумерках пришел домой и виновато улыбнулся встревоженно взглянувшей на него жене.

— Ну, как вы... без меня тут?

Старинный городской романс

1

Тридцать лет назад Степан Аркадьевич, в ту пору просто Степа, Степушка, Степок, удивил родных и близких: он поступил учиться. В техникум. Финансово-кредитный. А вышло так.

Степан вернулся в Почекуево из армии, где честно отслужил свое водителем. Возил высокое начальство — генерала авиации, был с ним на дружеской ноге, но главное — проникся искренней любовью к старинным городским романсам...

Поселок Почекуево, к счастью почекуевцев обойденный громкой славой нефтяных и газовых сокровищниц, лежал на левом берегу Оби. Зимой по самые макушки крыш в сугробах, летом — в зелени густого кедрача, Почекуево, казалось, дремало беззаботно все двести лет своей истории.



На центральной площади против здания райкома тусклым куполом высилась церквушка, где на загаженном собаками полу хранилась соль в кулях для местного заводика, который, хоть и выглядел невзрачным, в грязь лицом не падал с момента основания, даже экспортировал рыбную продукцию в дружескую Венгрию и черную икру в райкомовский буфет. Вблизи теснились, как опята, конторы и конторки, хилый леспромхоз и ветхий краеведческий музей, известный тем, что сохранил до наших дней ценные бумаги декабриста К...

Водителю в поселке выбирать не приходилось — целил в леспромхоз. Там, в леспромхозовской столовой, работала Верунька. Славная девчушка. Веселая и с выдумкой. На стене повесила плакат: «В столовой вежливым и скромным будь и наизусть усвой одно — поел, попил, не позабудь тарелочки подать в окно!» Степан охотно подавал свои тарелочки и донимал любовно повариху.

— Опять, стряпуха, ложки грязные?

— Претензии к машине! — Верунька горячилась, и под ее халатиком приятно волновалась розовая грудь.

Степан с Верунькой соглашался.

— С машины взятки гладки!

Целил в леспромхоз, но угодил в райфинотдел. Там, подсказали ему вовремя, уволился водитель. Пришлось опять возить начальство. Полный, большеротый и задумчивый заведующий райфо оказался парнем свойским, хоть и без вежливых манер. Он мог и нахамить под настроение, но, нахамив, переживал, поскольку был отходчив.

За рулем водитель от избытка сил и чувств постоянно пел, и городской романс сдружил его с заведующим.

— Спел бы, Степ! — просил начальник в светлую минуту.

Степан не заставлял себя упрашивать.

— Любимую?

— Ну да.

Водитель с чувством запевал:

*Я встретил ва-ас — и все бывшее-е
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло,
Я вспомнил вре-е-емя за-ла-тое,
И сердцу ста-ала так тепло...*

Заведующий вздыхал о чем-то потаенном.

— Эх, Степа-недотепа! Счастливый ты мужик. Потому что ни хрена еще не петришь!

— А чего мне петрить? — удивлялся Степан. — Мне пока все ясно. Газуй себе по жизни!

В один из солнечных погожих дней, когда Степан, вернувшись от Веруньки, намурлыкивал под нос веселенький мотивчик, заведующий райфо откинулся на спинку мягкого сиденья, раздумчиво спросил:

— Что, Степа, так и думаем всю жизнь крутить баранку?

— А че? — захлопал Степа длинными ресницами.

— Да как же это «че»? Тебе учиться нужно.

— Я одиннадцатилетку кончил!

— Смотрите на него! То разве грамотешка? Горе с тобой, Степа!

— С меня и этого довольно. Звезд с неба не хватаю, в начальники не рвусь... Век живи, век учись, а результат известен.

— Брось, Степа, эту философию! — осадил начальник. — Она для дураков. А ты, я вижу, парень правильный. Голова набита не мякиной, видишь много, спрашиваешь мало... С твоим-то, Степа, котелком не

за рулем сидеть бы, а по праву руку... около меня. Уважать себя, Степушка, надо!

— Я и так уважаю.

— Уважает он, смотрите на него! — Заведующий прищурился и выпалил внезапно. — Хочешь, Степа, замом сделаю? Зама, понимаешь, сотворю! Чуешь, как звучит?

— Да бросьте вы смеяться!

— Я не смеюсь — серьезно предлагаю. Давай учиться будем, парень. Шоферить — ума не надо. И медведь сумеет, только покажи. Я сам когда-то начинал с руля. Крутил-крутил баранку, а потом дошло: одно дело — шоферить, другое — ездить на машине. Чуешь, Степа, разницу?

Степа хмыкнул и пожал плечами.

Заведующий печально резюмировал:

— Ничего-то ты не понял, потому что зеленый еще. Но когда-нибудь поймешь. Еще и обо мне не раз вспомняешь. Вот, скажешь, был начальник, так начальник, на путь-дорогу истинную вывел. Короче, Степ, подумай хорошенько.

Ни хорошенько, ни плохонько водитель думать не желал, к вечеру забыл о разговоре. А начальник, оказалось, помнил.

— Ну как? — спросил через неделю. — Надумал или нет?

— О чем вы, Пал Матвеич?

— Да все, дружок, о том.

Степа рассмеялся от души.

— Да ну, — сказал он, — что вы! Тут женитьба на уме, а вы ко мне с учебой.

Начальник психанул на Степино «Да ну!», аж весь побагровел.

— Остановись, жених!

Степан притормозил.

— Чтоб завтра документы в техникум послал! Не пошлешь — уволю. Из него, из недотепы, человека лепят, а он — «Да ну». — И, не дав опомниться Степану, закруглил спокойно: — Не сомневайся — запросто поступишь. Сдай на троечки, и все. Остальное — дело техники. Отучишься — к себе возьму. Мне молодежь толковая нужна. А ты, я вижу, прирожденный зам. Лови момент, пока я добрый!

— Так ведь свадьба на носу!

— Ты, Степа, баб еще не видел. Погоди. Невелика потеря — повариха. Ведь ты орел!

— Ну-у, знаете!

— Вот-вот. Потом вспомянешь про мои слова.

Вечером Степан крутнулся перед зеркалом, оглядел себя в анфас и профиль, в глаза поглубже заглянул. Ничего орлиного в себе не обнаружил. Нос как нос. Утиный. Подбородок круглый, пухлый. Волосы — прямые, брови — коротышки. Глаза какие-то бесцветные... Словом, не начальник. Даже и не зам.

— Черт его, начальство, знает, — бормотнул он неуверенно. — Со стороны, наверное, видней.

В тот же вечер он всерьез задумался о будущем. А почему не поступить, пока предоставляется возможность? Котелок не заржавел, думать в состоянии. Диплом не помешает. Какое-никакое, а все ж — образование.

Поехал.

Поступил.

Но пока учился, свойского начальника уличили в махинациях, перевели куда-то на другую долж-

ность. К новому — вальяжному и строгому — Степан пойти не пожелал. Свежеиспеченный финансист устроился в инспекцию госстраха. Когда друзья осведомлялись, где и кем он трудится, он простодушно отвечал: инспектором госстраха. Друзья хватались за животики: как Деточкин, ага? Инспектор не на шутку распалялся и, заикаясь от волнения, сбивчиво и путанно объяснял им разницу между страховым инспектором и страховым агентом. Когда же надоело отвечать на подковырки, стал представляться всем подряд сотрудником райфо. Так звучало более внушительно. И главное, почти без дураков: райфо и райгосстрах ютились под одной дырявой крышей.

К новой должности нужна была привычка. Степан сначала уставал от писанины и даже, было дело, подумывал уволиться — скучной показалась работенка. Тянуло все-таки к машине. Когда же, наконец, освоился, стал рассуждать примерно так: работа как работа, с рядом преимуществ. Шоферил — царапины и ссадины с пальцев не сходили, мазут, бывало, не соскоблишь, теперь же руки как у пианиста. Да и кем он был тогда? Степой-недотепой. Мальчик на посылках. А теперь кой для кого и Степан Аркадьевич. Мелочь, но приятная. Диплом, опять же, не права — непросто потерять.

С годами незаметно Степа стал Степаном Аркадьевичем даже для друзей. К сорока годам он заимел солидное брюшко, глубокие залысины и троих детей: двух девочек и мальчика. Когда они ходили в школу и, случалось, схватывали двойки, он доставал диплом, где черной торжественной тушью старательной рукой были

выведены круглые пятерки и, тыча в них пухленьким пальцем, внушал: вот папка ваш учился!

Лишних денег в доме не водилось, жили скромно, на зарплату, но дети вышли в люди. Старшая жила на юге, преподавала в институте, младшая работала врачом, а сын служил в погранвойсках. Жена работала учителем, она была покладистой, с ней жилось легко. Степан Аркадьевич числился в ударниках, его портрет бессленно красовался на Доске почета. Инспектора ценили в женском коллективе за добросовестность в работе, смысл которой заключался в том, чтоб взять побольше платежей и меньше выдать возмещения с целью превышения доходов над расходами, от чего зависела зарплата. Еще — за безотказность, редкую усидчивость и красивый почерк. Он, бывало, и открытки ко Дню Советской Армии подписывал себе собственноручно. От командировок не отлынивал. Женщины просили: Степан Аркадьич, родненький, съезди за меня туда-то и туда-то, сделай то-то, то-то... И Степан Аркадьевич, хотелось или нет, сдвигал на край стола бумаги, собирался, ехал. Конечно, не совсем за так. Надо было на рыбалку или на охоту, без обиняков выкладывал: девоньки, прикройте. И «девоньки» без всяких прикрывали.

К своим за пятьдесят он сохранил отменное здоровье. До тридцати лет не курил. После, правда, на рыбалке и охоте крепко пристрастился. Зато зимой ходил на лыжах, летом бегал вокруг дома...

Так вот и жил. По вечерам любили помечтать с женой, как, выйдя на заслуженную пенсию, уедут к дочери на море, купят скромный домик, станут жить-поживать, внуков наживать. Хорошо мечталось.

Однажды приснился Степану Аркадьевичу сон. Он увидел себя молодым, за баранкой райфовской «Победы». Веселым Степой-недотепой. И рядом — бывшего начальника. Павел Матвеевич был необычно угрюм.

«Спел бы, что ли, Степа», — попросил он тихо.

«Какую, Пал Матвейч?»

«Любимую, дружок».

«Сейчас изобразим», — Степан расправил плечи и выдал в полный голос:

*Я встретил ва-ас — и все бывшее
В ат-жившем се-рдце а-жи-ло...*

Как всегда во сне бывает, песня зазвучала сильно и свободно. Как бы сама по себе. Повисла, отделилась, поплыла:

*Я вспомнил вре-мя за-ла-тое,
И се-рдцу ста-ла так тепло...*

Павел Матвеевич прискорбно вздохнул.

«Душевно, Степ, поешь!»

Степан Аркадьевич-Степушка довольно усмехнулся и... открыл глаза. И тотчас впал в уныние. Как если бы во сне явилась к нему первая любовь...

Весь день преследовала песня. По дороге на работу, в душном кабинете, в тиши пустой квартиры. В ушах звучало неотвязно:

*Как поздней о-осенью па-рою
Бывают дни, быва-ает час...*

Тоска свербила сердце. Сны, как ни странно, повторялись. Степан Аркадьевич видел себя молодым и беспечным, ветреным немножко Степой-недотепой за баранкой любимой «Победы». Ее давным-давно списали, свезли на переплавку, взамен приобрели «Моск-

вич», но снилась лишь «Победа». Он будто въяве ощущал тепло баранки, кислый запах папирос угрюмого начальника, и эти ощущения будили в нем тревогу. Утром через силу плелся на работу, сидел мрачнее тучи. С девяти до восемнадцати корпел он над бумагами, звонил по телефону, вел с кем-то разговоры и курил, курил...

Новая начальница, а их сменилось на его веку немало, впервые изъявила недовольство:

— Вам, Степан Аркадьевич, не с бумагами б работать, а прям не знаю, с чем. Все документы пересыпали вонючим табаком. Я вас не узнаю.

— Вы сильно не ругайте нашего Аркадьича! — полшутя-полувсерьез вступились сослуживицы. — Он все-таки у нас единственный мужчина. Обидится, уйдет, что делать станем без него?

Степан Аркадьевич робко улыбнулся.

— Все, девки, может быть. Возьму вот и надумаю.

— Уж не в райфо ли лыжи наострил? — насторожилась новая начальница.

— Можно и в райфо. Давно к себе зовут.

— А что в райфо-то? Что — в райфо? У них оклады меньше наших!

— Да так оно, — кивнул инспектор, — от добра добра не ищут.

Но и через месяц тоска не унялась. Степан Аркадьевич раздражался по любому поводу.

Однажды неожиданно забрел в ту самую столовую, где так любил обедать Степой-недотепой. Столовая ничуть не изменилась, разве что вместо вазочек с рябинами стояли вазочки с салфетками да на стене висел плакат иного содержания: «Хлеба к обеду в меру бери,

хлеб — драгоценность, им не сори!» Степан Аркадьевич постоял посередине зала и подошел к раздатчице.

— Чего тебе? — буркнула девица в замызганном халате.

Степан Аркадьевич стусевался.

— Здесь работала когда-то поварихой Вера... Вера Парамонова... Не помните? Веселая такая!

— Много здесь перебивало веселых и находчивых! Разве что посудомойка? Тоже Верка. Ветеранка... Но не Параномова... А сами поглядите!

В амбразуре для посуды маячила косматая старуха...

Степан Аркадьевич с минуту постоял, повернулся, вышел...

Супруга вечером спросила:

— А ты зачем в столовую ходил?

— Да так, — пожал плечами, — шел мимо и зашел.

— Странно, — хмыкнула жена.

Как-то душной белой ночью он вышел покурить, и ноги понесли его через дорогу. Он очутился подле гаража, дрожащими руками вынул из пробоя проржавленный замок, не закрывавшийся на ключ беспечным нынешним водителем, по-воровски — с оглядкой и на цыпочках — прошел вовнутрь, в сыром тяжелом полумраке бетонированного склепа разглядел райфовский «москвичок», нащупал сверкнувшую никелевую ручку и, повернув, легонько дернул на себя — дверца мягко отошла. Он сел на пассажирское сиденье, обтянутое пледом. Когда глаза привыкли к полумраку, увидел в гнездышке панели кругляшок брелка. Холодный крупный пот покрыл глубокие залысины. Степан Аркадьевич безотчетно передвинул свое тело на

водительское место и тут же испугался дерзкой мысли, вывалился боком из машины. Сердце учащенно билось... Он закурил и успокоился. Затем, раздвинув обе створки сырых ворот, обитых жестью, втиснулся в машину. «Москвич», как сытый кот, лениво заурчал, дернулся и плавно покатился, пересек райфовский двор, выехал на главную дорогу. Будто оттолкнувшись от неровности асфальта, помчался, набирая скорость, в сторону шоссе. Степан Аркадьевич вел «Москвич» уверенно, рискованно, точно никогда не выпускал руля из рук. И все в нем пело, ликовало...

Я встретил ва-ас — и все было-ое

В ат-жившем се-ердце а-жи-ло!..

Домой пришел под утро. Осторожно лег, закрыл глаза. Но было ощущение полета! Будто все еще он мчался по шоссе, и вот уже послушная машина взмыла над асфальтом и понеслась навстречу ветру, а он, не видя полотна дороги, упругой силой запрокинутый назад — летит, летит, летит!..

Ночная вылазка успешно повторилась через месяц, через две недели, через день...

Степан Аркадьевич как с ума сошел! Все, что было им заслужено по праву за годы безупречного труда и трезвости мышления — почет и уважение, — с невероятной легкостью ставилось на карту. Всего лишь ради нескольких минут неизъяснимого восторга! Он признавал, что совершает глупость — да что там глупость! — преступление, ведет себя как бесшабашный малолеток, искатель приключений! Но, увы, не мог остановиться...

Гром грянул осенью, в начале сентября, дождливой темной ночью. Степан Аркадьевич вел машину по уже привычному маршруту, веселый перепляс дождя

по крыше «москвичонка» казался музыкой восторга. Он вдохновенно пел:

*Я встретил ва-ас — и все было-ое
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло!..*

Невдалеке от аэропорта, из-за крутого поворота, скрытого стеною кедрача, ударил ослепительный сноп света, и в тот же миг через дорогу метнулась чья-то тень...

«Пеше..!» — молнией сверкнуло в голове. Рывком крутнул баранку влево и даванул по тормозам. Машину бросило в кювет и развернуло, ударило о столб. Раздались лязг металла, треск разбитого стекла...

Утром был переполох. Райфовский шоферюга с пеной на губах кричал на виноватого инспектора. Новая начальница сосала валидол. Женщины испуганно шептались. Степан Аркадьевич с гипсом на руке, с разбитыми губами, безмолвный, бледный и подавленный, сидел в углу, не поднимая глаз. Днем с Доски почета испарилась фотография лучшего инспектора. Партийная ячейка родного учреждения готовила суровое собрание. Супруга, не способная принять на веру робкие попытки объяснений, впервые усомнилась в порядочности мужа. Назревали скандал в семье и судилище с райфо. До суда, однако, дело не дошло. Ущерб Степан Аркадьевич сразу возместил, но вскоре вновь напомнил о себе: вздумал увольняться.

Новая начальница, приняв заявление за обиду на строгащ, что вlepипа сгоряча лучшему инспектору, стала отговаривать. Уверяла, что все давно забылось, что она способна где-то и понять — бывало с ней такое, хотелось сотворить бессмысленную глупость. Бросить все бумаги, полисы, свидетельства, засесть за

выкройки и швейную машинку. Выговор она готова снять хоть сию минуту, выговор — пустяк, тем более ему до пенсии всего-то ничего...

Степан Аркадьевич был неумолим.

— Уж вы, прошу вас, не держите, — отвечал на уговоры. — Поеду к старшей дочке, внуков буду нянчить... Поеду, не держите.

Расстались хорошо. Степан Аркадьевич угощал шампанским. Женщины просили написать, как только доберется и устроится. Он всем все обещал.

Через год в инспекцию пришло письмо из Симферополя. Степан Аркадьевич слал сердечные приветы, сознавался, что скучает. Но в коллективе ему сразу не ответили, а потом, как водится, забыли...

А Степан Аркадьевич на новом месте жительства в должности вахтера общежития благополучно доработал до законной пенсии. Недавно он осуществил заветную мечту — с рук приобрел автомобиль. В хорошем состоянии. Дети помогли. По воскресеньям он, супруга, дочь с семьей выезжают за город. Там он уединяется, лежит на пахучей траве, подолгу наблюдает облака. И с грустью думает о том, как, в сущности, нелепо прошла жизнь.

Изоша Поперешный



Поутру 7 ноября Изот Чагин встал в предвкушении праздника, чему законным основанием служило красное число на отрывном календаре. Встал и, почесывая грудь, прильнул к окну.

— Погляди в свое окно — все на улице красно! — продекламировал он с чувством, хотя на улице-то было вовсе не красно, не ало, даже не розово, а белым-бело от свежего, ночью выпавшего снега.

Дурачась от избытка теплых чувств, он мимоходом чмокнул жену в ухо и под ее довольное бурчание вышел налегке во двор. Постоял, полюбовался чистым оснежением и расправил плечи...

Через полчаса, выбритый, умытый, сел за стол и выжидательно глянул на жену. Тоже на законном основании. Но она вдруг проявила нерешительность.

— А может быть, Ишоша, без стопки обойдешься?

— А почему без стопки? — удивился он. — Праздник же сегодня!

— Да, вроде, праздник и не праздник, не поймешь... Еще когда по радио сказали, что демонстрации не будет! Скажи, Иван? Ты слышал?

Сын подтвердил с набитым ртом:

— Угу... Сказали. Слышал.

Изот обвел глазами сына и жену.

— Вы мне пропаганду тут не разводите. Будет или нет, меня особо не волнует. Праздник ведь не отменили? Сегодня — красное число? Вот и наливай, не нарушай традицию!

Жена со вздохом налила. Как бы отделалась подачкой.

Изот, конечно, возмутился, но виду не подал. Как тут не возмутиться? Уж когда-когда, а в красный день календаря, будь то Первомай или Седьмое, она без рассуждений наливала стопку, еще и трешник на «общение» без промедления выкладывала. Он лихо опрокидывал законные сто граммов, хорошо закусывал и одевал Ванятку. Втыкал ему в петлицу бумажную гвоздичку, надувал шары, вручал флажок на палочке, и шли втроем на площадь.....

Свои сто граммов Изот Чагин и сегодня все же принял, но принял как-то с неохотой, буднично и вяло, как случалось с мужиками на бегу после рабочей смены, украдкой от начальства. Закусил соленой помидориной, поковырялся вилкой в сковородке и встал из-за стола.

— Так ты, Иван, со мной сегодня не пойдешь на площадь?

— Что я, коммуняка, что ли? — брезгливо отвернулся сын.

— Ишь ты, он не коммуняка! А я кто, по-твоему? Член политбюро? Секретарь парткома? Я тоже беспартийный.

— Ну и не ходи, никто тебя не гонит.

— Лучше бы от пыли ковры повыбивал, — встала жена.

Изот сорвал с вешалки куртку и шапку и повернулся к сыну.

— Он не коммуняка! Разве только коммунякам праздновать дозволено? А мы не люди разве? Ишь, пропагандист!

На центральной площади было стыло, неуютно. Несильный, но хватающий за нос и уши ветер кружил по голому асфальту обертки из-под «Сникерсов», катал пивные банки. Перед коммерческим ларьком топтались четверо «качков» в пятнистых камуфляжах да отирался забуддыга в истерханной шинелке.

И — ни флажка, ни транспаранта. Ни букетика цветов к памятнику Ленину. Ни шарика воздушного. Впервые на его, Изота Чагина, веку власти отменили в городе революционный цвет!

Ударом каблука Изот сплющил банку.

— Не нравится мне это! Хоть бы один из идейных явился! Речугу какую толкнул, людей бы с праздником поздравил! Все попрятались по щелям. Неужто праздника не жалко?

...На фронте белого фасада телестанции не было сегодня громоздкого портрета Ильича. Вместо Ильича там был прибит рекламный щит с крупной броской надпи-

сью: «Фирма гарантирует высокие проценты!». Железные ворота закрыты на засов. И так же, как на площади, — ни флажка, ни транспаранта. Ни души на территории. Ни малейшего намека на очередную годовщину!

— Сволотун какой-то!

Обычно в день 7 ноября с утра на телестанцию сходился персонал. Монтеры и механики по двое и по трое «ныряли» в Красный уголок или в пристрой к завхозу. Оттуда то и дело их изгонял парторг Петрович и как бы в наказание за внеурочное «общение» обременял знаменами, портретами вождей и основателей, а особо провинившихся — для связки — транспарантами. Изот правдами-неправдами избегал хождения толпой, предпочитая с сыном на плечах и бок о бок с женою наблюдать со стороны.

Через раскрытые ворота оживленный персонал по парторговской команде вливался в общую колонну, нестройными рядами преодолевал обязательную часть — сотню метров через площадь мимо городской «верхушки» на трибуне — с возгласами «Слава!» и «Да здравствует!» и, что особо забавляло Изота и жену, с троекратным рассыпным «Ура, ура, ура!». «Верхушка» в одинаковых шапках и пальто помахивала вяло черными перчатками и, стоя полубоком к шествующим массам, о чем-то меж собой переговаривалась. Но массы большей частью глядели не на важную «верхушку», а на задники ботинок впереди шагавших, дабы не отдавить тем пятки. На первом перекрестке, побросав в открытый кузов грузовой машины флаги и портреты, освобожденный персонал бросался в рассыпную, группировался по компаниям и под звуки марша с площади расходился по домам продолжать «общение»...

В пристрое у завхоза было пусто. На обшарпанном двухтумбовом столе, переоборудованном под лежанку и верстак, лежала груда выцветших от времени знамен и транспарантов в надломанных подрамниках. В плесенном углу — запыленные портреты подзабытых членов бывшего Политбюро. Предусмотрительный завхоз внес их по привычке накануне праздника.

Входная дверь на станцию была приотворенной. Из аппаратной доносился шум включенных передатчиков. Дежурный инженер, экс-парторг Петрович, завтракал в бытовке.

Изот с ходу гаркнул:

— С праздником, парторг! С семьдесят седьмой кровавой годовщиной!

Петрович поперхнулся и отставил термос.

— С этим и пожаловал?

Изот подсел к столу.

— Не только... Никого из наших не было сегодня?

— Не было... Зачем? Выходной же день.

— Я думал, кто заглянет по привычке.

— Чего сегодня делать? Выходной сегодня! — повторил Петрович.

— Не выходной, а праздник, — поправил Изот Чагин. — Чего сидеть-то сиднем по домам? Придет время — насидимся. Пообщаться бы, как раньше... Не все ведь плохо было.

Петрович просверлил его глазами, но предусмотрительно смолчал. Обколупал вареное яйцо и макнул им в соль.

Изот, вздохнув, добавил:

— Сволотун какой-то!

Петрович прожевал и ухмыльнулся ядовито:

— Колотун, наверное? Мудри-ишь!

— Это у тебя, может, колотун, а у меня другое... У меня сегодня злости не хватает. С мая ждешь праздника, а они там, наверху, поганку людям гонят. Что за праздник без компании? Без демонстрации? Без марша? Отгулы, а не праздник! — он пальцем погрозил Петровичу в лицо. — Это все твои, парторг, бывшие товарищи. Они там куролесят!

— Три года уж, как не мои, — возразил Петрович. — Я, Изоша, после путча сразу понял: мне там больше делать не фиг. В августе и вышел.

— Не вышел, а сбежал, — уточнил Изот. — Сбежал и перекрасился. Дали деру вы из партии, как крысы с корабля! Здорово тогда вас демократы шуганули. В штаны-то понаклали?

— Опять он за свое! — Петрович оттопырил флегматичную губу. — На кой она тебе, эта демонстрация? Уж не «покраснел» ли?

— Покраснеешь с вами! Скорее, посинеешь... Вы все мне одинаковы — белые и красные. Ваши заводилы в клубке за власть катаются, а из-за их грызни собачьей человеку с человеком уже и в праздники не встретиться!

— Встречайся, кто тебе мешает? Ты же вот пришел!

— Я-то вот пришел!

— Вот и сиди, не кипятись... Я что, похож на крысу!? — обиделся Петрович. — Ну, был в парторгах одно время. Работа как работа. «Как крысы с корабля!» — Он привстал и, навинтив на термос крышку, добавил укоризненно: — Поперешный ты, ей-богу! Сколько тебя знаю, все б ты поперешничал! То на демонстрацию палкой не загонишь, то сам на площадь рвешься. Экстремист!

Изот кисло усмехнулся и со лба взлохматил волосы.

— Но ведь чудно, Петрович! Пройди на площадь, глянь — ни души порядочной. Пусто, как в пустыне!

— Так отменили ж демонстрацию, чего там делать-то сегодня? — подскочил Петрович, потеряв терпение.

— Ну, как ты не поймешь! — Изот опять загорячился. — Выходит, столько лет на площадь мы с тобой по команде выходили? А сегодня — тоже по команде — ни один не вышел. Вот ведь как нас натаскали! Как собак каких-нибудь! «Встать!», «Лежать!», «Вперед!», «К ноге!». Что это такое? Как это назвать?

В аппаратной зазвонил дежурный телефон, но Петрович не поторопился. Собрал в полиэтиленовый пакет остатки завтрака, ребром ладони на ладонь смахнул крошки со стола, ссыпал в мусорную банку. Встал и потянулся. Глянул на часы.

— Нравится, не нравится — мое дело маленькое. Мое дело — сторона, ну их всех там к дьяволу! Мудришь чего-то ты, Изоша. Дома выпить не с кем? Так и доложи. Давай сообразим, раз такое дело. Я, собственно, не против. Вот через час сменяюсь...

Изот бросил на Петровича жалостливый взгляд и рывком поднялся.

— Дежурь, не заводись. Я пошел.

— Куда? — опешил экс-парторг.

— Домой. Ковры повыбиваю...

— Сам не знаешь, чего хочешь!

Изот вышел, огляделся. Ни души на территории! Ни следочка в стороне от проторенной тропки! Телевышка в снежном опушении казалась призрачным видением: дотронься, и рассыплется на льдистые ку-

сочки... Взгляд зацепился на флагштоке, где раньше развевался флаг...

— Не нравится мне это!

Дух противодействия втолкнул его в подсобку. Изот выдернул из груди революционной атрибутики невос-
требованное нынче красное полотнище...

Когда спустился с телевышки и, не различая лиц собравшихся в минуту на территории зевак, оббил от ржавчины куртку и брюки, два подоспевших от ворот молодых омовца легонько взяли его под руки. Из подъехавшей «мигалки» вышел крепко сбитый белолицый офицер в амуниции с иголки, с готовностью открыл перед Изотом дверцу.

— В р-революцию играемся?!

— Устраняем недоделки, — возразил Изот. — Вот теперь порядочек... Порядок, командир? — обратился к офицеру, кивнув на телевышку.

— Порядок-то порядок, но вышка ведь под облучением! Соображаешь, верхолаз, какие могут быть последствия? И неприятностей теперь не оберешься!

— Но висит красиво, да?

— А висит — красиво, — согласился офицер, но уже в кабине, предварительно захлопнув за собою дверцу.

Ночной грибник

Сторож дачного поселка «Кедр» Гурий Фадеевич Звягин запер дверь домика-сторожки и, одернув с запястья обшлаг ветровки, сдвинув по руке до локтя пустую корзину, глянул на часы — без четверти четыре. Тихо и покойно. Звездная россыпь под фиолетовым куполом неба гасла, пристыженно мерцая фосфорическим свечением. Восточная часть высветилась из-под горизонта, наливалась зоревыми растекающимися красками...

Он уже направился от крыльца к калитке, когда увидел: за клочком уцелевшего от бульдозера березничка по ту сторону въездной асфальтовой дороги, в «Ефремовке» — ряду строений «новых русских» (по фамилии удачливого местного банкира), в двухэтажном кирпичном коттедже под четырех-



скатной оранжевой крышей вспыхнуло зеленым мягким светом окно на нижнем этаже, затем сыро, глухо звякнула цепочка на входной двери, и на высокое крыльцо вышел... Христолюбов. Не отпрыск Христолюбова — Вадим, выстроивший дачу следом за банкиром и двумя годами позже расстрелянный в подъезде собственного дома, а сам — Викентий Валерьянович, Викеша. Уже давно не первый секретарь бывшего райкома, не поздний председатель бывшего Совета и вот уже, похоже, не президент какой-то высокоподвешенной кормушки...

«Неужель конец Викешиной карьере?!»

В пятнистой камуфляжной куртке, в мешковатых брюках на заклепках, с напуском штанин на голенища кожаных ботинок, в сдвинутой на мощный лоб синей пляжной шапочке с откидным солнцезащитным козырьком, Викеша пересек дорогу и медленно прошел в пяти шагах вдоль зеленой штакетной оградки в сторону шоссе...

«Да неужель отпрезиденничал? Есть, видно, Бог-то... Е-есть!» — Гурий Фадеевич проводил недобрым долгим взглядом уходящего Викешу, ощутив вдруг неприятную нутряную дрожь...

Выждав с полминуты, отворил калитку. Но прежде чем зайти в кедровник, сырой и неуютный от утренней росы, прошел с полкилометра по шоссе до кряжистого кедра на месте неприметного для непросвещенного, заросшего шиповником своротка.

А ведь всего-то полтора десятка лет назад за белыми грибами было рукой подать. Сразу за улицей Овражной, за огородами с вымахивавшей к зениту лета в

пол человеческого роста картофельной ботвой, по левую сторону шоссе начинался ельничек-березничек, правда, и в то время уже пощипанный, прореженный предновогодними набегами чадолюбивых горожан. Сужаясь постепенно к северу, ельничек-березничек ступенчато сбегал к утыканной осинником и черным кустарником ржавой болотине...

Вот где были белые! Всем белым белые, на зависть, хоть косою коси! А уж яркие, широкие, что твои плафоны, шляпки неисчислимых подосиновиков в ясную погоду видны были из заходящих на посадку самолетов. В те благословенные времена грибного изобилия едва ли не вся пенсионерия города с первыми выплесками утренней зари тянулась к ельничку-березничку с ведрами, корзинками, кошелками в руках. Входили, рассыпались цепью, перекликались и аукались в просвечиваемом, впрочем, от края до края, до кустика изученном лесу и, продвигаясь, выходили на болото. Всего за полчаса полны были посудыны величественными белыми грибами! А свиных, волнушек да белянок, что хрустко лопались, крошились под ногами на колеях и на обочинах объездных дорог, и не замечали. Да и в кедровник, простиравшийся сразу от болота, входили разве что в неурожайное, засушливое лето — пособирать лисичек в травке да молодых маслят по лысым косякам для утешительной грибницы...

Но в ту завидную для истинных грибников эпоху Гурию Фадеевичу было не до грибов. Хотя о доброй-то грибной охоте, как и о рыбалке, эдак на полдня, без суеты и спешки, да по нехоженным местам, да в одиночку, для души — о такой охоте кому же не мечталось? Особенно когда устал до полусмерти или непри-

ятности по службе. Неприятностей хватало в любые времена — не хватало времени. Столько было дел, забот, срывающихся графиков и горящих планов, что, случалось, и за лето выкроить денек-другой для отдыха души никак не удавалось, а и удавалось, то уж не для грибов. Да и грибником-то он в ту пору не был никаким — ни истинным, ни ложным...

Он в ту пору находился не столько на рабочем месте — в кресле главного редактора (с газетой за его спиной сполна справлялся зам. Что было не справляться? На счет денежки текли, с бумагой горюшка не знали, с идеологией проблем не возникало — никто сверху не давил и не указывал — сами знали дело, чувствовали меру), а сколько за перегородкой кабинета Христолюбова. Верой и правдой служил Первому, как сегодня шепчутся в кругу газетных щелкоперов, журналистским негром (а то они не негры, нынешние, еще какие негры-то!). Писал Викеше выступления, отчеты и доклады к самым разным торжествам, событиям и датам и, что теперь греха таить, строчил с огромным удовольствием, освоив в совершенстве это ремесло. Успех определялся и знанием одной существенной слабинки Христолюбова. Куда бы тот ни выезжал, перед кем бы ни витийствовал — будь то партактив, дирекция завода, правление колхоза или же бригада в поле и цехе, он хотел быть непременно принят всеми свойским — от сохи, от молота, желал войти в доверие, сорвать аплодисменты эдаким соленым, метким, звучным словом, ввернутым ко времени и к месту...

Он увлеченно украшал словесной мишурой цифры и отчеты официальных достижений вверенного Первому района, писал и для помощников замов — первых

и вторых, пятых и десятых и даже, дело прошлое, для инструктора отдела пропаганды — в юности геолога и человека славного, но к стыду, к несчастью своему, не способного связать двух предложений на бумаге. Готовил для него обзоры публикаций в собственной газете на заданную тему в свете выполнения очередных решений руководящих органов...

Не играл, не забавлялся — работал трезво и расчетливо, «обсасывая» каждое словцо и запятую, ибо, как никто другой, давал себе отчет, что самая, казалось бы, пустячная ошибка может обернуться бумерангом. Так же, как «изюминка», озвученная Первым, оборачивалась прибылью. Не в смысле премий-гонораров — то само собой, а высшей степенью доверия и расположения. Отсюда — новая квартира, престижная путевка, звания, награды как из рога изобилия, и, как довесок, довершение, — бронь во всемогущее районное бюро... И все обязывало, связывало, опутывало крепко, и не сойти, не спрыгнуть на ходу, не отстать, не задержаться, — отстал, так не догнать, споткнулся — не подняться...

Какие там грибки!

За грибками-то потом бы, после непредвиденной отставки, да впал поначалу в грех уныния, опустились руки. После августовской заварушки все полетело вверх тормашками — обкомы и райкомы, бюро и даже головы. В одной из многочисленных, вмиг обнаглевших газетеночек нашел свою фамилию среди тех, кого Викеша, прозревший в одночасье, должно, с подсказки нового, перестроившегося негра, отнес к числу «не сделавших необходимых выводов и не извлекших для

себя уроков из ошибок прошлого». Каких таких уроков не извлек он, преданный, как пес?!

Сперва решил, что стал случайной жертвой начавшейся в райкоме мелочной грызни. Вот, ждал, Викеша разберется, разберется да спохватится, все и образуется. Увы, не спохватился. Значит, сник Гурий Фадеевич, отставка не случайна. И не только с ведома, но и с подачи Первого. Одного не мог взять в толк — а почему его? Его, а не, к примеру, горе-идеолога списали в жертву новой, утверждающейся власти? Когда попал в немилость и, главное, за что?

Хотя, если подумать... С каких-то пор ведь не входил уже без приглашения в апартаменты Христолюбова. И тот, хоть и не шарахался при встречах в коридоре, но радости особой не выказывал. В рассеянной улыбке, в коротком, на ходу, рукопожатии-касании не ощущалось былой властности и твердости, в глазах нет-нет да и мелькала тень душевного смятения. Каким-то, видимо, особым, воспитанным за годы первосекретарства нутряным чутьем Викеша ощущал дыхание беды...

И вот тогда Гурий Фадеевич вспомнил о письме. О том, еще доперестроечном письме в редакцию на четырех листках в линейку, воспринятом как бомба под кресло Христолюбова, готовая взорваться в любой кому-то выгодный момент. Копия письма долго хранилась дома втайне даже от жены. О, Викеша в свое время многое отдал бы за него!

Сумбурное письмо от гражданки Н., работницы общественного транспорта, ударницы и проч., содержало настоятельную просьбу предать огласке заявление семигодичной давности. О том, что в ночь на воскресенье, 26 августа 1984 года, ее 17-летняя дочь, сту-

дентка первого курса университета, была изнасилована студентом индустриального института Христолюбовым В. В. (тем самым Христолюбовым — Вадимом, отпрыском Викешиним!). Утром следующего дня гражданка Н. обратилась с заявлением в городской отдел милиции, и вот уже на протяжении семи с лишним лет от всевозможных компетентных органов получает лишь невнятные отписки.

То давнее письмо он лично принял из дрожащих рук заплаканной гражданки Н., усадил и успокоил, и вселил уверенность, что передаст по назначению и, если подтвердится то, что в нем изложено (а он не сомневается, что так оно и есть, но ведь, согласитесь, обвинение серьезное — необходимы доказательства!), — так вот, если подтвердится, непременно напечатает...

И — вот в чем его ошибка, роковая, непростительная, приведшая в конце концов к отставке! — обнадежив, проводив гражданку Н. до лифта, сам еще не сознавая, для чего, сняв с оригинала копию и спрятав ее в сейф, пал в машину и — в райком... Что, мол, будем делать?

Вот где он дал маху! Простофиля. Думать надо было самому. Самому решать, что делать. Что и как. Да так, чтоб ни в отделе, ни в прокуратуре, ни тем более у Первого не возникло подозрений, что письмо прошло через чужие руки. Вот чего он недодумал на свою головушку...

В дни уныния, отчаяния копия, признаться, тешила своей убойной силой, жгла руки, побуждала к действию, отмщению, но медлил, выжидал, как выжидает хищник жертву, чтоб намертво всадить клыки и когти. Внимательно следил за перемещением влиятельных фигур на

местной политической арене, но после октября памятного года началась неразбериха. Бывшие партийцы исчезали с поля зрения на месяц, два, полгода, затем всплывали, но уже на новом месте, в невероятном новом качестве, и он дивился перевоплощению, как если бы вдруг белый предстал взору грибника эдаким красноголовиком, а бледная поганка обернулась благородным груздем. Викешу можно было уподобить рыжему масленку — выскальзывал каким-то расчудесным образом из лубых зажимов, хоть и потерял осанку...

Со временем и боль обиды, причиненной Христолюбвым, выпала в осадок где-то в тайниках души. Жизнь-то продолжалась, жизнь брала свое! «К дьяволу Викешу со всей его компанией, — решил Гурий Фадеевич. — К дьяволу газету и политику!». Он загорелся мыслью обустроить дачу, пожить по-стариковски в стороне от хаоса. И обустроил, и осел, даже подрядился сторожить участок. А по ночам писал — нет, не мемуары, не воспоминания, а что-то вроде грустных размышлений о подоплеках и причинах многих нынешних явлений — ведь в молодости пробовал перо и, уверяли, вовсе не бездарно. За годы дачного затворничества скопилось множество разрозненных заметок, их предстояло упорядочить и уложить в план замысла. Он вдохновенно принимался за работу, но через час-другой вдруг начинал тонуть в подробностях, мысль обрывалась и терялась, одно противоречило другому, а третье выхолащивало суть написанного выше. Он впадал в тревогу, нервничал и приходил в отчаяние от гадкой, цепкой, словно паутинка, мысли — поздно спохватился, всему свой срок и время, растратил дар по мелочам в апартаментах Христолюбова! Старая обида

выплескивалась ненавистью, руки вновь тянулись к письму гражданки Н., и лишь потрясшая район гибель Вадима заставила в каком-то суеверном страхе сжечь то злополучное письмо...

Гаденькая мысль гнала его на улицу, на свежий ночной воздух, и вот тогда он вспомнил о грибках...

Он вспомнил о грибках, когда ельничек-березничек исчез с лица земли. Заповедник белых царственных грибов был вырублен, распахан, размерян на участки под картошку, что сбегали вниз по склону и, перепрыгнув через ржавую болотину, свежими жердинами вклинились в кедровник. И не просто вклинились, а вгрызлись — хищно, яро, за какие-то два года от кедровника остались лишь воспоминания. Бездумным росчерком пера брошен был кедрач под раскорчевку в жертву дачному строительству вплоть до морошковых и клюквенных болот, тоже, впрочем, вскоре оказавшихся частично под засыпкой...

У кряжистого кедра он свернул с шоссе и едва приметной в неплодоносном брусничнике тропкой в зарослях шиповника направился к видневшемуся вдалеке просвету. Шел быстро и уверенно, обходя колючие кустарники с каплями хрустальной предутренней росы на глянцевитых сморщенных плодах, раздвигая плоские, вкруговую растопыренные лапы мокрых кедров.

С первых дней грибной охоты он усвоил немудреные основные правила: в лес входи со светом в сердце и — обрети свою «полянку». Тут, в лесочке на 17-м километре, вблизи дачного поселка, обрести «полянку» было нелегко. Как в былые времена, в ельничке-березничке все было выхожено, вытоптано, выполза-

но. Дачники чуть свет прочесывали лес, натываясь на грибы разве что на старых бульдозерных отвалах между неумолчной шоссейкой и кромкой пропыленного кедровника. В травянистых же канавах, в неглубоких выемах после затяжных дождей сквозь лиственную прель пробивались белехонькие от нехватки света волнушки и белянки с бархатистыми каемками, таявшими от прикосновения, да кое-где торчали из травы деформированные шляпки болезненных обабков на искривленных ножках...

Он остановился у кромки беломошного болота в окаймлении березника. Из-под высокой живой кочки с осоковой косичкой на макушке выдернул метровую осиную палку и, опираясь на нее, двинулся по загодя проложенным жердям, затонувшим в чавкающей под сапогами жиже. Перейдя болото, вышел на округлый сухой кедровый островок, разделенный надвое прорубленной когда-то узкой просекой в завалах бронзовевших стволов леса. Этот уцелевший от дачного нашествия крохотный мирок, защищенный с трех сторон болотом, стал с неких пор его «поляной»...

Он вошел в заросшую малинником горловину просеки и, прежде чем пройти по краю, присел на мшистую валежину, оставил в сторону корзинку и закрыл глаза. Ровный шелест леса, короткий, быстрый вздох внезапно, под порывом ветра падающих в мох с вершин кедровых шишек, стук дятла — старожила здешних мест, ядовитый, одурманивающий запах болотного багульника, светлеющий шатер предутреннего неба — все это успокаивало, снимало накипь ночных чувств... Он встал и огляделся. За малинником, по

южной стороне, в чащобе и завалах, на почтенном расстоянии один от другого виднелись белые красавцы...

— Ах вы, гордецы! — прошел к ближнему грибу на расщепленной ножке с белой бахромой по краям разрыва, подушечками пальцев провел по влажной и упругой шляпке. — Ах, толстячок-боровичок, и что ты такой важный, прям не подступись? Прямо пуп земли! Ну, не земли, так острова — не меньше... А мы вот не посмотрим, что ты пуп, видали мы пупов на своем веку, возьмем вот да и срежем тебя под корешок! Ступай-ка, брат, в корзинку! А чтоб не скучно было одному, пупов тебе добавим... Вон вас сколько тут... Видимо-невидимо!

Так он бубнил себе под нос, елозя на коленях по сырой траве, почти не расклоняясь, срезая гриб за грибом перочинным ножиком, но не выкашивая все, что попадалось под руку, а придирчиво оценивая, осматривая каждый, обирая шляпки от налипшего лесного мусора, не трогая, однако, молочный молодняк...

Когда корзинка доверху наполнилась грибами, а в завалах и чащобе их и не убавилось, он сел на ствол поваленного дерева, из-за пазухи ветровки достал разрезанный повдоль и круто посоленный домашний огурец.

Выплывшее из-за полыхавшей зоревой дуги огненное солнце согнало с листьев и травы последнюю росу, вкатилось шаром в горловину просеки...

— Ну, мужички-боровички, поджидайте — не скушайте!

Одному ему ведомой тропинкой он возвращался с острова в бодром настроении, словно и не было позади бессонной нервной ночи и почти трехчасовой прогул-

ки за болото. Лишь от багульника кружилась голова. Но мысли были ясные и светлые — прийти, умыться, выпить чаю, немножечко вздремнуть в затемненной комнате, а затем побриться и перебрать грибы...

И тут он чуть замедлил шаг, затем остановился и даже отшатнулся боком на березу. Из-за кустов шиповника по его тропинке вышел Христолюбов. Викентий Валерьянович. Викеша!.. Грузно опустился на обугленную карчу, издали похожую на черного распластанного зверя. Корзинку не отставил, а резко сбросил в ноги. И по тому, как сбросил — эдаким небрежным досадливым движением, легко было понять, что там, на доньшке, всего-то с десятков раскрошившихся синюшных сыроежек, с полдюжины маслят с отвердевшей плотью понизу да, может, с горстку слипшихся между собой обабков — большего на этом иссушенном летним зноем пяточке не могло и быть. А Викеша вряд ли углублялся в лес — бродил по кругу с краю да в низинке. Кружил, как сам когда-то, в первый свой грибной сезон. Не потому, что всякий раз блуждал в трех соснах, хотя и не без того, а, как убедился позже, потому, что, углубляясь, начинал испытывать странный дискомфорт от непривычной тишины утреннего леса и безотчетно отклонялся от маршрута в сторону шоссе...

Викеша Христолюбов сидел в полунаклоне. И глядя на его сгорбленную спину, опущенные плечи в пятнистом камуфляже, Гурий Фадеевич вздохнул глубоко и тяжело. И уже шагнул из-за березы, решившись наконец-то подойти к Викеше, но отчего-то вновь замешкался... И — понял, отчего. Не было в нем прежнего мстительного чувства. Не было злорадства. Все ушло, перегорело. Не из чего вспыхнуть. Лишь легкая уста-

лость и головокружение. И легкое сочувствие к Викеше... Властному, расчетливому. Коварному и сильному. Великодушному и подлому. И все же — загнанному, сверженному. Такие, как Викеша, сами не уходят...

Смотрел на сгорбленную спину...

«Ничего, Викеша, не ты первый... Ничего, отдышисься! — свернул с заветной тропки и пошел к шоссе в обход, чтобы не увидел Христолюб в его руке корзину с белыми грибами.— Расстроится мужик!».

Песня в чужом городе



Долго будешь помнить старую гостиницу в самом центре города, свой уютный одноместный номер, в котором не по доброй воле застрял почти на месяц. Ты был командирован в незнакомый город с целью встретить поезд, а точнее — вагон с аппаратурой, нужной до зарезу предприятию, работаешь в котором уже не первый год, перегрузить аппаратуру с поезда в контейнер, отправить баржей по воде. И приехал — не вдруг, не на авось, а по срочной телеграмме об отгрузке, полагая обернуться за три дня. Приехал — груза нет. Нет через день, нет через неделю... Ни вагона, ни аппаратуры. Ты звонил поставщику с просьбой разобраться, подтвердить отгрузку. И поставщик божился — вагон давно в пути, должен уже прибыть. Начальник местной станции —

голубоглазый полный немец — клялся своим креслом, что груз не поступал, он в своем хозяйстве обстановку знает. У них, кивал за виадук, все может быть — бардак, за них он не ручается, а у него порядок...

Ты верил и не верил, ломал в догадках голову. Либо по причинам, известным лишь поставщику, аппаратура не отгружена, а телеграмма об отгрузке — очередная утка, либо заблудилась в паутине рельсовых дорог, либо, думал ты, сам начальник станции места назначения работает вслепую. Полная неясность. И эта нервотрепка, неопределенность и отвратительная, мерзкая погода — с дождем и мокрым снегом, бездействие и грохот из номера напротив — все это, вместе взятое, стало сущей мукой...

Через коридор проживали двое то ли из Москвы, то ли из Свердловска — ты так и недопонял, хоть ежеутренне встречался с ними в «кухне» — отдельной комнатухе с газовой плитой и холодильником в углу, — этаким неслыханной ведомственной роскоши для избалованных комфортом постояльцев. Ставил чайник на плиту, раскрывал окно с видом на Иртыш и, облокотясь на подоконник, рассеянно курил. Респектабельного вида средних лет мужчина в твоём примерно возрасте, с проблескивавшей в ежике волос ранней сединой входил с кофейником в руке, а сзади следовал танцующей походкой высокий бледный юноша с копной рассыпчатых волос и с сердцевидной красной «каплей» в мочке уха. Они заваривали кофе, садились друг напротив друга за пластиковый столик, курили в ожидании свежего напитка и заводили разговоры о разных рок-концертах, группах и солистах. Ты далек от музыки вообще, не дока в этих группах, но сделал заключение,

что оба из какой-то, должно быть, филармонии, приехали на смотр или конкурс и проявили интерес к одной из местных музыкальных групп. Когда вода вскипала, ты заваривал свой чай и торопился в номер. Но через четверть часа из номера напротив ударяла музыка, ты вскидывался с места, сдергивал со спинки расшатанного стула непросыхающий свой плащ и убежал на целый день. Когда же возвращался, голодный и продрогший, магнитофон твоих соседей громоподобно извергал лаву адских звуков. Ты клял свою работу, этот неприветливый сумасшедший город, груз, который провалился в тартарары, погоду, музыкантов с их скрежежом и воплями, грохотом и свистом, стонами и хрипами. Ровно до одиннадцати вечера. О, эти меломаны блюли гостиничные правила, их не в чем было упрекнуть! Оба утомлялись, укладывались спать, а ты стонал от звона в голове — эха дикой музыки. Магнитофонный грохот, как запах утреннего кофе, казалось, пропитал тебя насквозь. Это была пытка с эффектом падающих капель на голую макушку обреченной жертвы.

Справа по соседству проживали трое уже пожилых мужчин, одетых по-рабочему в черные спецовки, дружно уходивших куда-то по утрам и возвращавшихся, как правило, к полуночи. Но по воскресеньям они пребывали в номере. В выходной и ты валялся на кровати, под рукой на тумбочке лежала кипа купленных в киоске журналов и газет, ты прочитывал всю прессу от корки до корки и наслаждался тишиной — в воскресенье музыканты пропадали невесть где.

К вечеру за стенкой начинала беспорядочно, громко хлопать дверь, голоса сливались в непрерывный гул, и через час-другой внезапно прорывалась песня:

*Как за реченькой слобо-одушка стои-ит,
По слобо-одке той доро-оженька бежи-ит...*

Ты откладывал газеты, вслушивался в пение — ясный, чистый тенор. Мужчина пел, слегка фальшивя, но с неподдельным, теплым чувством. Разноголосица за стенкой тотчас обрывалась.

*Как нале-ево — на кладбище к мертвеца-ам,
А напра-аво — к закавказским молодца-ам...*

Песня часто обрывалась, следовала пауза, доносился гомон, смолкаемый внезапно, хмельной певун затягивал другую, пробовал на голос плачевную — под стать, как видно, настроению. Про тонкую рябину и могучий дуб, камыш и молодость помятую, бродягу с Сахалина и тоску-кручину... Сольные концерты заканчивались за полночь, когда из коридора доносился стук и один из музыкантов, по-видимому, старший, возмущенным голосом требовал порядка.

Долго будешь помнить первое мгновение в один из выходных уныло-серых дней уже в канун отъезда (наутро твой вагон найдется, и дело станет за разгрузкой), когда вдруг трепыхнулось сердце при первых звуках песни. Как ошарашенно вскочил со скрипнувшей кровати, отбросил в сторону журнал с детективной повестью, уставился на стену. Ты меньше удивился бы, если б от соседей донеслось вдруг ангельское пение. Но пел все тот же тенор:

*Не мешайте мне
Вы, друзья мои,
Я вам го-орькую песню спою-ю,
Как на кладбище
Митрофа-ановском
Отец до-очку зарезал свою...*

Ты еще не осознал, отчего вдруг всколыхнулся, но слух твой уловил сказовый мотив, напрягся в ожидании знакомого зачина. Медленно, на цыпочках, ты подошел к стене. С чего ты так разволновался, и теплою волною окатило сердце, когда хмельной певун обозначил действие:

Мать, отец и дочь

Жили ве-есело,

Но изме-енчива злая судьба-а...

Сосед пел грустную историю, похожую на сказку с трагическим концом. Сентиментальную историю о злодейке-мачехе и палаче-отце...

Спустя тридцать с лишним лет ты вспомнил эту песню. И Любку-Бородавку — беду всего села. Однажды за поскотиной отстал от детворы — увлекся земляницей, елозил на коленях по сухой траве, собирая ягоду, не сразу и заметил, как перед тобой, в каких-то двух шагах, очутился бык с большим кольцом в ноздрях. Стоял, копыта землю. Ты с перепугу взлетел на искривленную березу, сидел там на суку почти до синих сумерек. Сперва ты пел, горланил марши, затем умолк и заскучал, стал потихонечку скулить, а бык ходил кругами и копытил землю. Сколько б просидел ты наверху с затекшими ногами и спиной, уже дрожа от страха остаться в одиночестве ночью за поскотиной, если бы не Любка? Любка-Бородавка, точно привидение, вышла из березового колка и — ты похолодел! — направилась к мучителю быку. Ты видел, как злоеющая гора в ярко-красной шкуре, выставив рога, медленно попятилась, а Любка наступала, размахивая банкой с горсткой земляники на стеклянном доньшке. И бык не выдержал напора щупленькой фигурки в

грязном синем платишке, боком отступил и развернулся. Ты воспрянул духом, ветка надломилась под твоей ногой, сухо, звонко треснула... Любка-Бородавка увидела тебя:

«А ты зачем туда залез?»

Но ты не растерялся:

«Изучаю жизнь... Животных!» И добавил: «Брем!»

Любка уважительно взглянула на тебя, царапнула коленку.

«Можно, я с тобой?»

«Не-е, я до утра!» — расхрабрился ты.

«Я тоже до утра».

«Тебе нельзя — от мачехи влетит».

Любка молча согласилась. Ты помнишь, как она ушла...

Любку-Бородавку трижды отвозили в детский дом, и каждый раз она сбегала к престарелой бабушке, и отец — кривой мужик с перебитым носом — искал ее на улице, пряча от сельчан испитое лицо. После третьего побега Любки из детдома ты увидел ее в лесочке за поскотиной, как раз на той березе, с которой «наблюдал» когда-то «жизнь животных». Любка громко пела:

Зла-ая мачеха ненави-идела

Семиле-етнюю крошку-дитя-я...

Помнишь ее голос, с неизбывной болью поведавший о том, как однажды мачеха приказала старому, послушному ей мужу избавиться от дочери, чтобы «не мешала веселее жить...»

Ты убей ее

Иль в приют отда-ай...

Но отдать в приют свое дитя «палачу-отцу было совестно», и решил он дочку погубить.

Отец Надю на кла-адбище зва-ал...

На могиле матери злодей убил родную дочь, увидел на руках своих Наденькину кровь и понял, что не смыть ее, не избежать проклятия...

Тут в руке его

Блеснул о-острый нож.

Обагрилась грудь

Палача-а...

Ты слушал жалостную песню, и сердце наполнялось болью сострадания к судьбе несчастной Нади, которую ты видел в Любке-Бородавке, и закипала ненависть к ее отцу-пропойце и сварливой мачехе. Но что ты мог для Любки сделать? Утешить? Поддержать? У тебя хранилась дома богатая коллекция превосходных фантиков, собранные в пору октябрючества...

«Люба, Люб! — ты вышел на полянку. — Слазь, а, Люб!»

Любка-Бородавка застыла на березе, как перед прыжком, впилась в тебя зелеными глазами, скользнула кошкой вниз.

«Подслушиваешь, да?! Подслушиваешь, гад?!» — готовая вцепиться в твои вихры, выцарапать зенки, сжала пальцы в кулаки, локти растопырила...

Ты невольно отступил.

«Люба, Люб, чего ты? Я случайно здесь. Хочешь, фантики отдам? Те самые, а, Люб?»

Любка ощетинилась.

«Нужны мне твои фантики! Тоже мне, жалельщик! Если только хочешь знать, мачеха с папаней любят меня больше, чем твои тебя! И мачеха — не злая. Это вы придумали! Враки это все! Враки! Враки! Враки! И песня ваша — враки! Противные вы все!»

Как она восстала против твоей жалости! Как возненавидела тебя! Гордая, несломленная Любка!..

Твой сосед за стенкой давно закончил песню, пробовал на слух вторую или третью, а ты все пребывал под впечатлением первой — с завидной, удивительной судьбой! Ты думал, песня затерялась в обломках твоего мертвого села. Ты полагал, что горькая история о несчастной Наде, палаче-отце и злодейке-мачехе не сохранилась в памяти земляков-сельчан, рассеянных теперь по городам и весям истерзанной России... Но — нет! — не затерялась, передалась и продолжала песенную жизнь!..

Сосед-певун был явно в голосе:

Ах ты, ночь ли,

Но-о-оченька!

Ах ты, ночь ли,

Бур-рная!..

Но за полночь слышались шаги, щелканье замка, скрип приоткрытой двери — вернулись музыканты. Через полчаса возмущенный голос старшего воззвал к стыду и совести певучего соседа. Вмешалась и дежурная...

Ты заснул под утро с мыслью встретиться с соседом, выяснить, откуда привез он эту песню, из каких мест родом, но утро, как известно, вносит коррективы. Рабочие ушли задолго до рассвета. И ты умчался по делам. Весь день прошел в бегах. Ты выгружал аппаратуру, оформлял приемку, отправлял контейнер и в речпорту по времени увидел, что успеваешь на последний рейс. Устав от нервозности, от всей неразберихи, ты поймал такси и завернул к гостинице...

По комнатам носилась этажная дежурная. Со стопками белья, вазоном и графином под мышкой и в ру-

ках, пыхтя, трусила кастелянша. Она и сообщила, что в номер музыкантов вселяют иностранца — для города великое событие! — а музыкантов переводят в номер певуна, а певун с компанией, кажется, уехали...

Ты сожалел, но через несколько минут мчался на такси по мокрому асфальту в расцвеченный огнями ночной аэропорт, тебя распирало от радости встречи — теперь уже скорой. Ты видел, как войдешь, сбросишь с себя плащ, навстречу выйдет Любка — Люба — Любушка — Любава, произнесет со вздохом облегчения: «Приехал!», спросит: «Ты устал?» Как будто не устала в вечном ожидании, будто не устала в вечном одиночестве. Осыплешь поцелуями и, наконец, поймешь: не ты ее — она ведет тебя по жизни, не ты — она твой ангел-хранитель, пропал ты без ее любви и сострадания!

Время поворота солнышка на лето

В канун старого Нового года Петр Мокеевич Нелюбин открыл вдруг для себя, что световой день прибыл. Если еще месяц назад к четырем на улице смеркалось, то сегодня, за час до закрытия булочной, куда он собрался за батоном, — было светло.

Такое малозначительное, но приятное открытие подвигло его на кое-какие уточнения. Он присел к столу, снял со стены календарь и с интересом стал изучать долготу дня, время восхода и захода солнца, обозначенные на отрывных листах. День, убедился Петр Мокеевич, действительно прибыл — и прибывал уже не на воробьиный скок, а, как говаривала некогда покойная матушка, на куриный шажок.

— Вот так вот, Женя, — с чувством сбывшегося ожидания



произнес Петр Мокеевич, обращаясь к жене, сидевшей напротив и перебиравшей гречку к ужину. — Денек-то прибыл крадучись... Покатилась зима с горки.

— Покатилась-раскатилась, — в тон ответила Евгения Степановна и, показав глазами на обледенелое с улицы окно, добавила с усмешкой. — То-то он, весна, гляжу, вдогонку разбежалась, запыхалась прямо...

— Прямо или криво, а придет по расписанию, никуда не денется. Солнышко на лето — календарный факт. Неопровержимый.

Давно Петр Мокеевич не заглядывал в календари, не подсчитывал денечки до желанного события — такового в его жизни и не предвиделось: что должно было свершиться, то свершилось. Сам три года, как пенсионер, жена — год без малого, детьми, а следовательно, внуками Господь не одарил, как ни вымаливали в молодости, так что подсчитывать денечки приходилось разве что до третьего числа — до пенсии. Он и весну-то из времен года особенно не выделял. Весна, конечно, не зима с ее морозами-метелями, но и приятного немного: попервости то снег с дождем, то дождь со снегом... Сырость, слякоть на дворе. Он не весну любил, а время поворота солнышка на лето, когда мысли о тепле и свете согревали душу...

Еще какое-то время помусолив листки календаря, Петр Мокеевич отправился в булочную. И ходил-то с полчаса, не больше. Взял батон да завернул в молочный за кефиром, а по пути купил в киоске «Советскую Россию» — любимую «совраску», которая еще стояла за таких, как он — выжатых и брошенных на произвол судьбы. Возможно, день и завершился бы чтением газеты, если бы жена не обронила сразу, как только он вошел:

— Кто-то только что звонил.

— Кому? — не понял Петр Мокеевич.

— Тебе, кому!

Он скинул обувь у порога.

— И кто же мне звонил?

— А не назвался даже.

— Кто бы это мог? — Петр Мокеевич разделся и прошел с покупками на кухню. За ним — Евгения Степановна с перебранной крупой на доньшке кастрюльки.

— А чего звонил-то, Женя?

— Тоже не сказал. Спросил, дома или нет. Ответила, что в булочную вышел.

— И перезвонить не обещал?

— Не пообещал. Сразу бросил трубку.

— Тоже мне, ответчица! Можно было и спросить, кто, по какому поводу... А вдруг не перезвонит?

— А не перезвонит, значит, так и нужен! — отрезала жена. — Чего засуетился, будто ждал звонка откуда-то?

— Не ждал, а просто любопытно, кому понадобится мог...

После чая он взял свежую газету и прилег на тахту. Возле телефона. Так, на всякий случай.

Сто лет ему никто не звонил. Жене с бывшей работы позванивали часто верные подруги, а ему — сто лет. Как умер. Ну, сто не сто, а года два, однако, точно...

А впрочем, нет — звонили в декабре с телефонной станции. Девичим звонким голосом было строго спрошено: «Абонент Нелюбин? Номер «три — сорок четыре — два нуля»?»

Он поперхнулся от внезапной сухости во рту и подтвердил скороговоркой: «Да, да, да... Три — сорок четыре...»

«Если вы, Пэ Эм Нелюбин, не внесете плату за квартал до первого числа, — перебила юная особа, — телефон отключим. Без предупреждения. Вы поняли меня?»

«Все прекрасно понял!» — Он, как ни странно, не расстроился, не запсиховал, а до того обрадовался неожиданному звонку и неприветливому, но все ж таки живому человеческому голосу, обращенному к нему пусть и не по имени и отчеству, как принято у добрых-то людей, а по инициалам, — что некстати, чуть ли не за месяц поздравил позвонившую с Рождеством и Новым годом (в таком именно порядке и почему-то с «Новым годом», а не с Новым, как обычно, годом — опять же, видно, от волнения).

На что девицей с телефонной станции была допущена слабинка в голосе и смятенно молвленно: «Спасибо уж, но плату все-таки внесите — сами понимаете, что себе дороже...»

Как было не внести? Сходил и внес.

Содержание прочитанной статьи не воспринималось. Петр Мокеевич вздохнул, сложил газету вчетверо.

— Женя, слышишь? Голос — старый? Молодой?

— Какой еще там голос? — откликнулась из кухни Евгения Степановна.

— Да по телефону-то!

— Вот дался ему голос! — Евгения Степановна с наброшенным на руку полотенцем неслышно вошла в зал, уставилась на мужа взором психодиагноста. — Я думала, ты спишь с газетой на носу.

— Уснешь, пожалуй, как же... Голос, спрашиваю, старый или молодой?

— Не сказать, что молодой, но вроде и не старый... Не поняла я толком.

— Не Гусев с третьего подъезда? За шахматами, может, не с кем посидеть?

— Что ж я, гусева басочка не признала б? Сроду он нам не звонил.

— Да и телефона у Гусева-то нет, — вспомнил Петр Мокеевич. Он бросил сложенную вчетверо газету на тахту, встал и подошел к окну. — Кто бы это мог?..

— Выбрось ты из головы!

— Выбрось вот попробуй. А не из отдела пенсий? Не насчет ли регистрации какой-нибудь опять? Хотя... оттуда тебе звонят. — Прошелся от окна до телефона и резко обернулся: — А как он обратился-то?

— Господи! — взмолилась Евгения Степановна. — Ты доконал меня сегодня. Что же я, за ним записывала, что ли? Так и обратился: здравствуйте, нельзя ли передать трубочку Мокеичу...

— Моке-еичу?! — подался вдруг вперед Нелюбин. — Ты не ошиблась, Женя? Так и сказал — Мокеичу?

— Да ну тебя, на самом деле! Прямо как на допросе! — вспыхнула Евгения Степановна и вернулась на кухню.

Мокеичем Нелюбина называл на службе, в управлении, лишь Костя Григораш...

В первый год после того, как Петра Мокеевича тихой сапой выдавили в отпуск, а из отпуска — на пенсию, позванивал преемничек Костя Григораш. Позванивал, понятно, не по доброте душевной — душевности у нынешних явно не в избытке, — а по необходимости. Выдавить-то выдавили с должности начальника отдела, а с чего начать работу, как задействовать давнишние отлаженные связи, на то опыту, смекалки не хватало. Вот и растерялся поначалу. Звонил, водил вокруг да около, интересовался на словах здоровьем, на-

строением, планами на лето, даже предлагал, хитрец, путевку (на какие шиши ехать после обгайдаривания?), а между тем намеками и недоговорками вытягивал советы да подсказки...

Был повод для обиды! Не согласись он, Григорашто, на предложенную должность, все могло бы для Нелюбина остаться так, как было. Так и подмывало проявить характер! Но не проявил, не опустил, слава Богу, до отместки. Вздыхал да поучал. Наставлял. Подсказывал. Душа болела за работу — нынешним опять же не понять. Но Григораш обтерся, освоился на должности да и забыл наставника. А там и Петр Мокеевич свыкся с положением...

«Неужели он, голубчик? Вспомнил? Устыдился своей неблагодарности? Решил поздравить с Рождеством? Поздно спохватился. Со старым Новым годом? Премного благодарен! Я, Костя, горд, но не спесив... И сам могу поздравить. Вот возьму да звякну. На опережение».

Но тут же вклинились сомнения:

«А вдруг звонил не он? Мало ль кто когда-то называл меня Мокеичем? Тот же Гусев с третьего подъезда. Всех и не упомнишь. Не-ет, скажет Григораш, не звонил сегодня, не было нужды! И что тогда — умыться?»

И все же позвонил. Через две недели, устав от ожидания повторного звонка. С утра Евгения Степановна, наказав купить кефиру и батон, отправилась к подруге. Оставшись в одиночестве, набрал номер телефона своего преемника с намерением бросить трубку сразу же, как только Костя отзовется. Удостовериться, что дома...

Абонент незамедлительно ответил утробным женским голосом:

— Слушаю... Але?

И Петр Мокеевич дал маху.

— Простите, — просипел он изменившимся до неузнаваемости голосом. — Я, кажется, ошибся...

Он посидел у телефона на тахте с отрешенным взглядом, оделся и пошел. Но не за батоном и кефиром. Слепо, безотчетно вышел на центральную городскую улицу и через полчаса уперся в ограждение родного управления...

То, что он увидел, потрясло. Некогда обшарпанное, серое и мрачное здание управления выглядело легким трехэтажным теремком под блистающим на солнце кровельным железом. Он неуверенно толкнул входную дверь, зашел вовнутрь и замер... «Матушка родимая!»

На какое-то мгновение ослеп от бьющей в глаза роскоши внутренней отделки. Куда девался тот привычный коридор — грязный и прокуренный, холодный и заплеванный слоняющимся людом — рабочим и служилым? Во всю солидную длину залитого светом коридора стены были облицованы какой-то белой, теплой на взгляд крошкой, схожей с пузырьками пенопласта, но с розовыми тонкими прожилками, а ослепительно сияющий — зеркальный? — потолок отражал зеленую ковровую дорожку...

По застланным покрытием ступенькам крутой парадной лестницы он медленно поднялся на пролет и, полуобернувшись, глянул вниз — туда, где раньше коротали рукодельем смену бабушки-вахтерши. На месте бабушкиных тумбочек стояло некое подобие кабинки с врезанным окном и телефонным аппаратом на подставке. Из кабинки неожиданно вышел белокурый молодой

омоновец с упитанным лицом, дожевывающий что-то на ходу. Увидев постороннего, встал и поморгал оцепенело, затем вдруг густо покраснел и ринулся наверх:

— Вы как сюда попали? Кто вас пропустил? Пропуск предъявите!

Теперь оцепенел и Петр Мокеевич.

— Какой еще вам пропуск?

— Ах, так вы без пропуска? Немедленно назад!

— Да не кричите вы... Никого же не было у входа. Я на пять минут. На третий, в отдел сбыта!

— Немедленно назад! И без пререканий! Что у вас в пакете?

— Не бомба, не волнуйтесь!

— Я спрашиваю, что?!

— Ничего. Он пуст.

— Короче, быстро вниз, не понуждайте к силе! — И подтолкнул Нелюбина плечом.

— Ты кого толкаешь? — вспыхнул Петр Мокеевич. — Ты щит возьми с дубинкой. Дубинкой-то удобней! И каску нахлобучь на пустую голову! Не гляди, что пожилой, так подтолкну, пожалуй, что как звать забудешь!

На шум откуда ни возьмись предстал другой омоновец. Стройный и чернявый, с выправкой спортсмена, с зачесанными на косо́й пробор вьющимися волосами.

— Что тут происходит?

— Да вот, — кивнул с потухшим видом белокурый. — Отвлекся на секунду, а этот тут как тут... Пулей проскочил... Да еще без пропуска. Обыскать?

— Не надо. — Осмотрев Нелюбина с ног до головы, чернявый приказал: — Выпишите пропуск. В бюро вход со двора. Паспорт при себе?

— Нету при себе, — развел руками Петр Мокеевич.

— Что же вы без документов?

— Я все объясню... Я — Петр Мокеевич... Нелюбин. Ветеран труда... В кои веки вздумал попроведать, а тут такая катавасия! И этот... боевик розовощекий, — просверлил глазами белокурого, — обыскивать собрался!

— Кого хотели попроведать? — перебил чернявый.

— Ну, скажем, Григораша — начальника отдела сбыта...

— Хорошо, звоните. Аппарат внизу. Знаете пароль?

— Какой еще пароль?

— Номер по внутренней связи.

— Что ж вы издеваетесь, молодые люди! — взмолился Петр Мокеевич. — Паролей напридумывали тут, как в бункере... у этого! Не знаю никаких паролей.

— Да что мы тут толкуем с ним? Вышвырнуть, и все дела, раз подобру не понимает! — востропел застучавший было белокурый.

— Ладно, помолчи! — осадил чернявый. — И вы не горячитесь, как вас... Петр Мокеевич? Григораш — фамилия вашего знакомого?

— Костя Григораш, — подтвердил Нелюбин, чувствуя, как сдавливают сердце... — Ладно, я пошел... Ничего не надо.

— Вы присядьте на минутку там, внизу, — попросил чернявый. — Я сейчас все выясню и выйду.

Нелюбин медленно спустился по ступенькам.

— Ничего не надо!..

Он вышел и присел на заснеженную лавку вдоль расчищенной дорожки...

Чернявый не заставил себя долго ждать.

— Что, отец, остыл немного? — Он дружелюбно улыбнулся и подсел к Нелюбину. — Вы не обижайтесь — порядок есть порядок. Служба. А ситуация такая: уволен ваш знакомый. Месяц, как уволен по истечении контракта. Где искать — не знаю. И еще — я вижу, вы не в курсе... Нет больше управления. Раскрошили, поделили. Жаль! Я сам на стройке начинал. Теперь здесь — частная компания, новые хозяева. Вот так. Такая ситуация!

Нелюбин промолчал, лишь сильнее съежился.

Чернявый встал.

— Вот так... До дому доберетесь? Помощь не нужна?

— Нет... Не беспокойся. Спасибо тебе, парень!

...Из распахнутой настежь двери средней школы по противоположной стороне малолюдной улицы на двор высыпала стайка детворы и пошла стенка на стенку в рассыпающиеся пухом на лету снежки.

«Тоже ведь весну почувяли!» — улыбнулся Петр Мокеевич.

Светлая печаль растеклась по сердцу. И даже от сознания того, что внешний его мир отныне замкнут в суженном пространстве от дома до киоска «Роспечать», не улетучилась улыбка...

Солнышко на лето! А со временем зачатия весны в вечно живой природе так много было связано в его, Петра Мокеевича, жизни: от беспричинного восторга, самопожертвенной любви, ощущения полета и прилива сил до безмятежного сознания неотвратимости ухода... Чего еще желать?

Костя Григораши пришел домой к обеду.

— Чем порадуешь сегодня? — встретила жена холодным взглядом.

— Ничем. Пока ничем. Все — пустые хлопоты. Найти работу нынче — не пустяк.

— Что-то затянулись твои хлопоты. — Жена поджала губы и выдержала паузу. — Кто-то только что звонил...

— Кому? — застыл на месте Григораш.

— Не знаю, кто, кому... Позвонил да извинился, сказал, ошибся номером... Но голос показался мне знакомым.

Григораш разделся и умылся, причесался перед зеркалом и прошел на кухню, Уставя глаза в стол, раздумчиво спросил:

— А голос старый? Молодой?

Прости, капитан!

А помнишь, Володя, финал с «Политехом?»

— Много их было, финалов. Разве все запомнишь? О каком из них ты все напоминаешь?

— Ты мне брось тут: «Много!» Такого не бывало. Если не помнишь финала последнего первенства, тогда какой ты, к черту, бывший футболист! И о чем тогда мне тут с тобою разговаривать!

— Не горячись, Мартын. Напомни, о каком финале речь. Может, я в том матче и на поле не выходил. Тебе ль не знать, что я в последнем первенстве в запасе больше просидел?

— Выходил, Володя, выходил! Неужели вправду позабыл? Ты, может, и команду нашу позабыл? — не на шутку распаляется мой институтский однокашник.

— Ну при чем тут команда? Команда есть команда. Она в памяти моей осталась навсегда.



Разве я смогу ребят, тебя, Мартын, забыть? — Я тоже начинаю горячиться, хотя и понимаю, что должен уступить. В чем-то повиниться перед капитаном институтской сборной по футболу. Я еще не осознал, в чем именно я должен повиниться, но интуитивно чувствую, что должен. Скорее, чувство вины от того, что, проездом оказавшись в городе своей студенческой юности, я застал Мартына в его не лучшей форме, а может, и в какой-то переломный для него период, о чем догадываюсь смутно по застывшей в пелене его потухших глаз покорности судьбе... Догадываюсь, но не могу себе позволить, как мог еще пятнадцать лет назад, спросить его впрямую по праву преданного друга: «В чем дело, старина? Отчего хандра?» Что-то, полагаю, не сложилось, не заладилось. Да и у кого из совестливых, порядочных людей жизнь в наше подленькое время сложилась или не разладилась!..

— ... Разве я могу забыть команду? Все я, Мартын, помню. Все! — уверяю своего распалившегося друга, мягко похлопав его по плечу.

— Ну вот... А то: «Не помню!» — примирительно бурчит Семен Мартынов, придвигая по столу банку импортного пива.

Мы сидим за столиком в летнем кафе. Снаружи по натянутому тенту шелестит мелкий дождик. Внутри, от стойки бара, звучит легкая мелодия. Уютно и покойно после сутолоки дня...

Ах, Мартын, Мартын! Мой старый, добрый друг! Как же нам не помнить «команду молодости нашей»? Ту пору — «пору золотую» — как не помнить? Помню мегафонный голос комментатора: «Гол забил Семен Мартынов!», гул восторга преданных, признательных

тебе, Мартын, болельщиков на переполненных трибунах стадиона...

Семен Мартынов — центр нападения, восходящая звезда любительского футбола, кумир студгородка. Да и не только городка — Мартына знал весь город. Помню — зря, Мартын, психуешь! — тебя знали и болельщики, и тренеры команды первой лиги «Водник» зачастили на просмотр твоей игры...

Он восхищал не только знаменитыми рывками, таранными проходами по центру, техникой игры (мячом владел он виртуозно! Мяч, казалось, прилипал к носочку его бутсы!), но, несмотря на средний рост, отнюдь не богатырское сложение, превосходил всех нас и в верховой борьбе за мяч, и в точности и силе паса, и в видении поля в самые, казалось бы, «слепые» от перенапряжения кульминационные моменты... Но главное, что делало Мартынова Семена Мартыновым Семеном — это неуемная жажда победы и тогда, когда любого из нас устроила бы и боевая ничья...

Помню, Мартын, помню, как доставалось твоей правой! Шесть травм и операция — за четыре полных года в сборной! И все же, главное, наверное, заключалось в том, что в каждом матче ты игру брал на себя. Не уклонялся от борьбы, не избавлялся от мяча безадресной поспешной передачей, не катался по полю при легком столкновении, выпрашивая штраф в сторону ворот соперника или же выгадывая несколько мгновений передышки, чем — чего уж там! — грешили многие из нас в особо трудные минуты. Ты вел игру. Ты вел команду!

— Все, Мартын, я помню. Все. Все до мелочей. И ребят всех помню. График игр. Забитые голы...

— А незабитые, Володя?

— Ну, это, Мартын, слишком. Я не блистал, как ты!

— А финал с «Политехом»?

Нет, не избежать нам разговора о злополучном том финале!

— Дался тебе этот «Политех»!

— А я, Володя, помню... Первые годы после Афгана мучился бессонницей. Лежу, припоминаю, прокручиваю в памяти все свои бои и матчи... И не забитый гол с твоей подачи помню. Во всех трагических подробностях! — мрачно усмехается мой друг. — «Политехи» да еще, пожалуй, «Автодор» нам всегда давались нелегко. Как и в том финале. Ну, вспомни же его!.. Заканчивается матч. Счет по игре — ноль: ноль. И вдруг за три минуты до финального свистка в ворота Генука вкатывается мяч... Помнишь Генука? Вратаря-то нашего?

— Председателя студкома Хомякова Гену?

— Не Хомякова — Хомченко. Председателя, вот именно. Он и сегодня в нашем городе какой-то не последний председатель. Вижу его часто, но не подхожу, не разговариваю с ним. Он для меня не существует.

— Неужель с тех пор?!

— С тех пор. Не перебивай... Мяч, который должен брать ребенок, пересек черту наших ворот. «Политех» ликует! Три минуты до финального свистка! Что делаете вы? Вы цепенеете, Володя. Вы сломлены. Вы — сникли. А это уже — крах. Это — поражение.

«Но и поражение не сбрасывает нас с верхней строчки в турнирной таблице, — вспоминаю ситуацию. — Судьба-то первенства была предрешена задолго до финала!».

Мартын смотрит, не мигая, не меняя выражения чуть насмешливых в упреке, утомленных глаз.

— Значит, все же вспомнил?

А я не забывал. Но и через пятнадцать лет мне стыдно вспоминать все связанное с тем злополучным матчем!

Я все, конечно, помню.

...Соперник тянет время, затевая в центре поля мелкую перепасовку. Судья уже посматривает на секундомер. Две минуты до финального свистка! И вот Семен Мартынов перехватывает мяч и пушечным ударом посылает его в сторону ворот соперника в надежде на рывок правофлангового. Правый крайний принимает передачу, обрабатывает мяч и... топчется на месте в ожидании партнера. Мартын пулей устремляется по центру. В пяти метрах от штрафной его сбивают. Он, вскрикивая, падает!.. Должен быть штрафной удар, но судья не видит, игра не остановлена. Мартын медленно встает. Охнув, снова приседает на газон. Вижу по глазам, суженным от боли: удар пришелся по лодыжке! Неужели травма?! Правый между тем, запутавшись в обводке, навешивает мяч на левый фланг. Мяч у меня. Одна минута!.. Мартын встает. В кольце защитников и опекунов, хромая, пятится назад, открывая «коридор». Нужен хороший прострел под удар его правой! Но замысел разгадан. Форвард «Политеха» «ведет» меня по кромке поля. Не уйти, не развернуться, не подать, как следует! Нет сил на передачу! В конце концов я чудом проталкиваю мяч. Мяч в подскоке катится к Мартыну...

— ...Я врезал по мячу сломанной ногой. По диагонали, правой, в развороте, с ходу! Мяч лег на ногу,

как в гнездышко. Я в тот удар вложил всего себя. Столб искр из глаз от боли! Фейерверк огней! На какое-то мгновение я потерял сознание. Увы, мяч ахнул в перекладину... И все — свисток судьи. Вы на носилках вынесли меня. Если б мне, Володя, не сломали ногу, а у тебя хватило б сил на передачу для удара с лета, я б тот мячик вколотил в ворота! Я бы спас игру! Я бы спас вас от позора!.. Тогда мы проиграли. И финал стал последним моим матчем в жизни. — Опершись ладонями на край мраморного столика, Мартын в наклоне долго, выжидательно смотрит на меня.

Не выдержав его пронизательного взора, отвожу глаза на стойку бара, где мирную беседу ведут официантка с барменом.

— Ту игру сдал «Политеху» наш Генук. Я узнал об этом на другой же день. От одного из игроков того же «Политеха». Валялся в общежитии на койке с гипсом на ноге. И он ко мне явился. Думаешь, с повинной? Совесть, думаешь, заела? Ничего подобного! Гонец пришел осведомиться, по уговору ли Генук распорядился взяткой... Да, нас и поражение не лишало «золота», ты прав, а им нужна была победа. Только два очка выводили их на второе место. Сторговались с Генуком за одиннадцать студенческих стипендий. По стипендии на брата с каждого из них! Вот такой расчет, такая арифметика!

— В чем-чем, а в арифметике Генук наш был силен!..

— Он и сейчас силен в расчетах. Так вот, я выпроводил с «боем» гонца из «Политеха» и на костылях отправился на поиски нашего голкипера. Застал его в студкомме. Шло очередное заседание — распекали не-радивых. Он аж привстал со стула. Он побелел и улыб-

нулся... Впервые я увидел, как человек бледнеет и потеет на глазах. Я вышел, не сказав ни слова. Больше мы с ним не встречались...

— Думаешь, он помнит?

— Все он, Володя, помнит. Ведь сговор был, по сути дела, первой в его жизни сделкой. Это он теперь может позабыть какие-то свои предпринимательские сделки, а ты — первую подлянку на стипендиях — помнит, как дебют! Через месяц сняли гипс, и я бросил институт. Я катастрофически запустил учебу. «Хвосты» за мной тянулись со второго курса. Даже и зимой, в отличие от вас, я пропадал в спортзале. Всерьез готовился, Володя, к переходу в «Водник». Получил и приглашение, и сразу — в основной состав. О чем еще мечтать? Но осенью призвали, и даже главный тренер не смог добиться для меня отсрочки. И тогда, — напыщенно-торжественно заключил Мартын, — в одну из темных холодных ноябрьских ночей под проникновенное «Прощание славянки» бывший центр нападения с группой свежестриженных юнцов скорым поездом Владивосток — Москва отбыл с пятого пути к месту исполнения воинского долга!.. А через год — Афган.

— Ты отбыл, и с твоим отбытием рассыпалась команда.

Мартын смотрит на меня пронизательным прищуром много повидавшего в жизни человека.

— Ты ничего не понял, друг. Не оттого, что я ушел, рассыпалась команда. Она рассыпалась тогда, когда игру продали «Политеху». Когда вы, Володя, отметили победу на «премиальные» соперника. Я вас не упрекаю, не корю. В конце концов, всему свой срок и время...

И нечего-то мне возразить на это!
Бессмысленно и глупо заператься!

Рассчитавшись, покидаем уютное кафе. Дождь перестал. Перед тем, как разойтись, присаживаемся рядышком на краешек скамьи. Мартын устало отставляет ногу. И только теперь из-под приподнявшейся штанины над его коричневым ботинком я вижу черный ствол протеза...

Он перехватывает мой недоуменный взгляд, невесело смеется:

— Ничего, Володя. Нет худа без добра. Зато я навсегда избавился от травм. «Духи» помогли. Моя правая нога обрела вечный покой!..

Прости нас, капитан!

Отголосок



Малыш

Воскресенье был на рынке. Битый час бродил вдоль крытых торговых рядов, присматривался, приценивался, но покупать ничего не покупал и уходить с пустыми руками не торопился. На торговцев, что в сумрачный осенний день за прилавками от холода приплясывали, и внимания-то не обращал — все они в последнее время кажутся мне на одно лицо, примелькались. А тут будто кто-то локтем в бок — глянь-ка, кто перед тобой. Глаза приподымаю — боже мой, Малыга. Юрчик!

Молодая темноликая женщина в наброшенной на плечи меховой куртке сидела на складном низком стульчике, в руке держала дымящуюся сигарету и прямо-таки складывалась напополам от сотрясавшего ее смеха. А Малыга, землячок мой, на корточках



подле нее. Коренастый, головастый, в коричневой кожанке, с выбритым затылком, со знаменитой на деревне резиновой улыбочкой от уха до уха... Зубы скалит. Забавляет.

«Да Малыга ли это? — все еще не уверяюсь, не решусь окликнуть. И так, и этак погляжу, и сбоку, избоку гляну, — нет же, нет, не обознался. Он. Рот не укоротишь. И седелку носа не выпрямишь. Как у нас в деревне старики говаривали — куда породу денешь? Малыгина порода!»

Торговка между тем ненароком встретила мой взгляд, кивнула на меня собеседнику: обслужи, мол, покупателя. Тот в два прыжка к прилавку с наигранной учтивостью:

— Чего изволим, сударь?

«У-ухарь-купец!»

По разложенным напоказ шмоткам туда-сюда глазами пробежался, соображая, очевидно, что бы там такое могло меня привлечь.

— Юрчик? — спрашиваю тихо, удивленно. — Малыга? — уточняю неуверенно.

На уголках его фамильных безразмерных губ повисла глуповатая улыбка, веки дрогнули, подглазья сбежались в розовые сеточки, но тотчас и разгладились, улыбка улетучилась, а глаза вдруг обрели холодный, хамский блеск...

— Малыги вон, на входе, с протянутыми шапками! — ответил-отчеканил он и отвернулся, и добавил, выдавив сквозь зубы, обращаясь не ко мне, а уже к торговке. — Нашел мне тут какую-то малыгу!

Вот так оплошал я!

Вот так отбрил меня земляк!

Да и поделом. Какой же он теперь Малыга?

Жил-был в моей деревне мужичок один. Малыгиным его не называли даже в сельсовете. Так Малыгою и помер...

А интересный был мужик! Таких, как он, теперь по всей России наверняка уже не встретишь. Не знаю, как насчет добра, но зла этот неказистый мужичонка с белесыми бровями точно никому не причинил, разве только самому себе по недомыслию природному...

Но прежде, чем об Юркином отце, немножко о Малыге-деде. Юркин дед был тоже малый интересный. Жива история о том,

Как Малыга-дед уехал на войну



Погрузили призванных на колхозные подводы, чтобы везти в райцентр, на сборный пункт. Мужики, кто пьян, кто трезв, с семьями прощаются, бабы голосят. Малыжиха, бедняга, громче, горше всех. Шутка ли, одна с семерыми остается. Заламывает руки, в голос причитает, наказывает мужу:

— Да не потеряйся там иде-нибудь! Держися мужиков! Доедешь, так письмишко черкани... Листик положила, огрызок положила...

Малыга недоумекает:

— А растуды твою кулему! Как же черкану, если я неграмотный!

— Да попроси там мужиков! Мужики помогут!

— Так ведь табаку, небось, потребуют!

— Ну и отсыпь щепотку!

Малыга — скрепя сердце:

— Ну, если на закруточку! — И, озадаченно моргая, спохватывается вдруг. — Тю-ю, растуды твою кулему! Куды ж я напишу-то? Ты ж мне адрес не оставила!

Мужики со смеха попадали с подвод.

А бедная Малыжиха слезами обливается.

— Глупой. Совсем глупо-ой! Чую, не воротисси!

— Ладно хоронить-то! Буде причитать!

— А как не причита-ать? Семеро сиротами останутся! Другой под пулю не ползет, а ты сглупу сунеси. Чует мое се-ердчишко!

— Да растуды твою кулему! Я вам навоюю! — хорохорится Малыга. — Одного-двоих уложу, свою норму выполню — к покосу ворочуся. Ставь к покосу бражку!

— Глупой ты, разглупо-ой!..

Как в воду глядела Малыжиха. Ни «листик», ни «огрызок» Малыге не понадобились — уехал и пропал. Ни письма, ни похоронки... Сэкономил на закрутку.

А старшенькому — Прошке — в ту пору шел двенадцатый годок...

На восемнадцатом он женился. Взял из соседнего села дочку фуражира Федору Коновалову — деву нелицеприятную и мрачную. Жена у фуражира молодою умерла, оставила в наследство дочь на выданье и полный двор скотины — Федора управлялась. С хозяйством засиделась...

И сразу пошли дети. В двадцать три имел Малыга четверых парней — Ермоху, Степку, Ваньку и грудного Юрчика. Все, как один, большеголовые, безбровые, губастые...

— Ну, Малыга, наклепал, как по трафарету! — смеялись мужики.

Самодовольно усмехался:

— Зато все мои, никто не скажет, что есть лишние!

Чумазые, сопливые малыжата день-деньской носились шумной стайкой. Обуви не знали с Пасхи до Покрова, случалось и по снегу шлепать босиком, но никакие хвори к ним не приставали. Новые штанишки получали к осени, перед самой школой. Малыга покупал черного сатину, Федора шила шаровары с широкими, шуршащими штанинами на резинках снизу. К новым шароварам полагались свеженькие майки. То-то было радости!

Детей своих Малыга по-своему любил и баловал по-своему. Как-то раз Федора отправила его в райцентр за сандалями старшим. Малыга заглянул в универмаг, перебрал всю обувь, выставленную там на обозрение. Вид «дырявых» сандалет его обескуражил. Решил купить ботинки, но выданных Федорой денег хватало только на Ермоху. Задумался Малыга: купишь одному — остальным обидно будет. И чтобы никого не обидеть и не обидеть, плюнул на ботинки и сандали, купил пол-ящика конфет...

Баловать-то баловал, но если расшальются, то и цыкнуть мог. Да так, что вся четверка во главе с Ермохой горохом рассыпалась под кроватью и без звука выжидала, когда тятка сменит гнев на милость.

Сыновей Федора стригла ножницами наголо, но оставляла чубчики. Деревенские подтрунивали:

— Ребятишки, для чего вам мамка чубчики оставила?

— А чтобы тятка из-под койки мог вытаскивать!

В обед Федора выходила из избы и с крыльца звала:

— Еρμο-ошка! Сте-пка! Ва-анька! Ю-юрка! Марш домой обедать!

Четверо срывались с места, где б ни находились.

Федора ставила на стол алюминиевую миску размером с добрый таз со щами или окрошкой. Малыга сам разламывал ковригу и начинал хлебать. За ним по старшинству — Еρμοха, Степка, Ванька, Юрчик. Хлебали молча и сосредоточенно. Федора подливала. Наевшись, пили чай вприкуску с серым сахаром. После чая дружно шмыгали вспотевшими носишками, но из-за стола не выходили раньше отца с матерью.

В избе — ее купил Малыге тесть по случаю женитьбы — добра всего и было, что сундучок с Федориным приданным да огромная русская печь. Как бы жарко ни натапливали избу, тепло в трескучие морозы быстро выдувало, и Малыга приспособился согревать детей в печи, чем однажды напугал до полусмерти нагрянувшего тестя...

Входит тесть в избу с мороза, руки потирает, сосульки из бороды выщипывает.

— Ставь, зять, самовар — до костей пробрало!

Малыга с печи да к порогу, шубу с тестя принимать.

И в это время из-под печного свода высунулись головы, измазанные сажей. Одна, другая, третья...

Тесть оробело оттолкнул Малыгу, попятился к порогу и, крестясь, забормотал:

— Свят, свят, свят!.. Помилуй мя!..

— Да што ж вы, тятя, напужались? — удержал Малыга. — То внуки в печке греются!

В тусклом свете лампы тесть не сразу разглядел родных внучат. Ермоха, Степка, Ванька, Юрчик, как хомячки из норки, выползли на свет на дедов голос.

— Де-еда, это мы!

Тесть не сдержался и загнул:

— Что ж ты, мать твою!.. родных детей сажаешь на ночь в печь?!

— Так, Федора утром хлеб пекла, — невозмутимо объяснил Малыга. — Чего жару пропадать?

Тесть и поначалу-то не очень жаловал Малыгу, а с годами между ними возникло отчуждение. Но на людях зять разрыв скрывал. В деревне часто вспоминали,

Как Малыга к тещею за мясом ходил

В молодости он одно время работал молотобойцем. За день молотом намашется, аппетит разыграет, а дома на столе не густо. Вот и размечтается к обеду.

— А што, — скажет кузнецу, — возьму да в воскресенье к тещеюшке смотаю. Тестя навестю... Тестя навестю... да мяса принесу. У тестя мя-яса — некуда девать. Чего душа желает! Схожу да принесу... Куда ему, беззубому, столько ужевать?

И день, и два, и три одно и то же кузнецу твердит. Ждет не дождется воскресенья.



И вот приходит в понедельник. Кузнец интересуется:
— У тестя был, Малыга?

Молчит, будто не слышит. Из кузни да на улицу, с улицы да в кузню. То угля, то прут несет для ковки, то бадью воды... То у наковальни, то у горна топчется.

Кузнец не отступается.

— Ну, сбегал к тестю, нет?

Малыге некуда деваться.

— Та-а, чего там... Сбегал!

— Ну и что принес?

Опять из кузни да на улицу, с улицы да в кузню...

Кузнец в усы ухмылку прячет, упорно добивается.

— Мяса много ли припер?

— Та-а, множко ль на себе припрешь?! — вскрикивает жалобно Малыга. — Вот поеду на кобыле, разом и припру!

Однажды пополудни на остановке из городского автобуса вышел пассажир. Средних лет мужчина — солидный, судя по осанке и одежде. В сером длинном пальто с каракулевым воротником, в каракулевой шапке, в шикарных кожаных ботинках...

Вышел, огляделся и, перебросив из одной руки в другую легкий чемоданчик, направился к видневшейся за почтой двухэтажной школе.

Но подошел и — растерялся.

— Дети, где тут проживает председатель сельсовета? — спросил у пробежавших мимо малышей.

— А во-он, где флаг над крышей!

Приезжий с чемоданчиком взял курс на красное полотнище на соседней улице.

Зашел в приемную. В приемной секретарша.

— Вы к кому, товарищ?

— К председателю.

— Так нет его...

— А где же он?

... Через четверть часа секретарша знала, что представительный мужчина заехал в гости к председателю, с которым прошлым летом в областной больнице лежал в одной палате, где они сдружились и обменялись адресами. И вот ему командировка выпала попутная — как не воспользоваться случаем, не навестить приятеля?

Секретарша — ох да ах, какая, дескать, незадача — председатель-то и сам укатил с утра в райком, будет только к вечеру, придется подождать. И хоть ей было в новость, что председатель летом лежал в какой-то там больнице, уточнять из деликатности не стала, провела нечаянного гостя в комнату приезжих, включила самовар, угостила чаем.

От чая гость размяк, разговорился. Как, мол, поживаете, каковы успехи, виды, то да се, да пятое-десятое...

Секретарша отвечала:

— Жаловаться грех. Иван Михайлович у нас председатель знатный...

Такой непринужденный, легкий разговор.

Но гость с чего-то вдруг обеспокоился.

— Иван Михайлович, сказали? Разве председателя зовут Иван Михалычем? А не Прохор Ерофеичем?

— Не-ет, Иван Михалычем...

— А как давно он председателем?

— Да уж лет десять.

— Де-есять?! — изумился гость. Он привстал со стула, промокнул платочком взмокшую макушку. — А он сказал, председателем его избрали год назад... Простите, как его фамилия?

— Кого? — вконец смешалась секретарша.

— Да председателя-то вашего!

— Иван Михалыча? Захаров!

Гость вымучил улыбку и слегка сбледнел.

— Не Малыгин разве?

Секретарша хлопнула длинными ресницами. Вот когда дошло! Аж зрачки расширились.

— Не к Малыге ли вы, часом? Отроду он не был председателем. Ни «а», ни «б» не понимает. Во-он его изба, из окна видать!

— Хороша изба! А двухэтажный особняк?

Тут уж секретарша не сдержалась, прыснула в ладошку.

— Во сне ему приснился особняк. Он только прошлым летом солому с крыши сбросил!

Заночевал гость в сельсовете, а утром, спозаранку, взяв слово с секретарши о неразглашении конфуза, втихомолку укатил.

Секретарша дала слово, да только как же его удержишь в нашей-то деревне?

Когда Малыга шел в своей рыжей «полканке» (он и летом не всегда с головы ее снимал), лица было не видать. Не вспомню без улыбки,

Как Малыга со мною здоровался



Крикнешь через дорогу:
— Здравствуйте, дядя
Малыга!

Он как споткнется на ходу. Уцепится за шапку, чтобы не слетела, головой повертит.

- Слушай, с кем ты поздоровкался?
- С вами, дядя Малыга.
- А чего ты поздоровкался?
- Нас же так учили!
- Мамка с папкой, што ли?
- В школе!
- В шко-оле? Ишь ты! И со всеми вас здоровкаться учили?
- Да!
- И со мною тоже? — не уверяется Малыга.
- Да... И с вами тоже.
- Ишь ты, прямо интересно! Так вот и сказали: и с Малыгой — тоже?
- Нет, так не говорили, — промямлишь и пойдешь в смятении.

Но Малыга не отстанет.

- А ты куда пошел, парнишка?
- Что еще, дядя Малыга?
- Так ты ж со мною поздоровкался?
- Ну, поздоровкался... А что?
- Ты прямо молодец! Ты поздоровкался, а я ессе и не ответил... Здравствуй, коль не шутишь! А если пошутил, стречь не попадайся — уши оторву!

Учились малыжата из-под палки. Раньше, чем таблицу умножения, осваивали трактор и комбайн. В школе их тянули до восьмого класса, зажмурясь, вручали свидетельства и с облегченным сердцем выпроваживали в жизнь. Все уходили в ПТУ. А после ПТУ подавались в город. Тропу туда проторил Ермоха. Устроился подсобником на табачную фабрику. За Ермохой уехал Степан, за Степаном — Иван, за Иваном —

Юрчик. И все — на табачную, в одно общежитие. Оттуда через год уходили в армию. Отслужив, с недельку гостили у родителей и возвращались в город, уже кто куда. Лишь Юрчик задержался. Но его Малыга выпроводил сам...

Служил Юрчик в Германии. Явился ясным соколом, гуляет день, другой и третий... И ладно бы — гулял, а то закуролесил. Все норовил продемонстрировать приемы, которым обучили его в армии.

— Желающие есть? В Германии, камрады, с этим делом глухо!

То ли парни в самом деле опасались оказаться поверженными Юрчиком, то ли не хотели осрамить вояку перед деревенскими девчатами, но в борьбу с ним не вступали. А нерешительность и сдержанность приятелей раззадоривала Юрчика. Где б он ни находился — в клубе ли, на пяточке — хватал кого ни попадя:

— Приемом угостить? В два движения ухлопаю! — Становился в раскоряку, раскачивался и потряхивал кистями, приглашая к поединку. — В Германии, камрады, с этим делом — о-о!

И однажды на кого-то все ж таки нарвался. Пришел домой к полуночи в разорванной «парадке» и с «орденком» под глазом...

Поглядел Малыга да и заявил:

— Вот что, сынка милый! Не оставил дурь в Германии, так свежи-ка ее в город, сбрось там где-нибудь подальше от отцовских глаз!

Вскоре после Юрчиковой свадьбы Федора вдруг сдала — исхудала, пожелтела. Весной слегла и уж не встала, не помогли ни бабки с их наговорами-снадобьями,

ни врач с таблетками-уколами — истаяла на мужни-ных глазах.

После смерти матери Ермоха, выросший в началь-ники производственного цеха, привез отца к себе. Сын жил в пятиэтажке напротив автовокзала. Бал-кон его квартиры на четвертом этаже просматривал-ся с «нашей» — двенадцатой платформы. Попервос-ти Малыга под разными предлогами часто появлял-ся на вокзале.

В ожидании подхода «своего» автобуса отъезжав-шие в деревню мужики облепляли скамью на перроне. В это время из толпы где-нибудь в сторонке «выныри-вал» Малыга...

— О-о, Малыга! — «удивленно» восклицали мужи-ки. — Не с нами ли в деревню?

— Та-а, чего там делать!

— Присядь с нами на минутку!

— Некогда. Пойду.

— Что за дела такие спешные?

— Мало ли... Кручусь! — но подходил, здоровался.

— А то присел бы, покурил.

— Некогда тут с вами! Дальше побегу!

Проходит пять минут, пятнадцать, полчаса прошло. Мужики и закурили, и наговорились, и новости пос-ледние Малыге передали, и по другому разу курево достали — Малыга все стоит.

— Да присядь, Малыга!

— Не, я побежал!

Вот и автобус на подходе.

— Привет там от меня! — напутствует Малыга, на-блюдая за посадкой...

* * *

Там же, на вокзале, я свиделся с Малыгой осенью. За месяц до его тихой и спокойной, в глубоком сне, кончины. Тогда при встрече он узнал и окликнул меня первым. Присели на скамью.

— Ну, как вы тут, дядя Малыга?

— Та-а... Мы теперь как все, — отмахнулся он. — Живем по-городскому. Три раз на дню за стол садимся! — Тихо засмеялся и, вздохнув, добавил, выдав неосознанно самую, по-видимому, суть произошедших в его жизни перемен. — Едим три раз на дню, и каждый — из отдельной чашки...

Миф о чистой воде

- Бабушка, почему русалки живут на том берегу?
- Они водятся в чистой воде.

(Из детских воспоминаний Илюхи Погорелова)



И когда за спиной щелкнула калитка, и в глубине зеленого двора осталось каменное здание районной хирургии с обжитой палатой окном на закопченную котельную, когда глаза, отвыкшие от солнца, ослепило, и, как у гипертоника, закружилась голова, тракторист совхоза «Воропаевский» Илюха Погорелов выдохнул с чувством внезапно прозревшего слепца:

— Ничего себе пельмешки, что в природе-то творится!

А в «природе» светом и цветом буйствовал молодой июнь, из чернозема отовсюду перла зелень, тополиным пухом заметало улицу...

Илюха с детским восторгом огляделся, запрокинув голову,

посмотрел на небо, где, как на детской аппликации — клоками белого на синем, висели облака.

— А ведь запросто мог окочуриться! Дважды-два. И — ханус-манус миру, по-латыни выражаясь... И это все, — обвел он жадным взором окраину цветущего райцентра, — цвело бы впустую... Покудова жив человек, потуда мир и существует, что бы там ни говорили разные мыслители. А скопытился — и все, и ханус-манус миру...

Вот и хирург, который дважды оперировал Илюху, спасший ему жизнь, сказал напутственно:

— Ну, Илья-Илюха, голова-два уха, считай, что в рубашке родился, вовремя тебя доставили. Еще час-полтора, и медицина развела б руками. Благодарю дружка-приятеля.

Дружку-приятелю Овсянникову Яшке Илюха Погорелов готов поставить литр водки. Да что там литр — два не жалко. И ящик бы поставил — глазом не моргнул.

А дело в том, что в марте угодил Илюха под колеса «Беларусика». Из кабины выпал на ходу — за баранкой прикорнул. Понятно, что тому причиной... Все она, проклятая. Из-за нее и ногу повредило, и ребра покροшило. Наделала беды. Хорошо, что Яшка следовал на тракторе чуть сзади, тоже под парами, но в своем уме — не растерялся. Уж как достал из-под колес дружка-приятеля, в кабину втиснул недвижимого, на девятой скорости примчал в районную больницу — уму непостижимо. За такое дело мало ящика...

Покинув хирургию, ослепленный сочной живописью лета, Илюха Погорелов радовался жизни.

Что его особо поразило, так это — небо, листья и трава. Окраина пестрела разноцветьем неведомых Илю-

хе трав, листва деревьев набирала сок и силу, а небо простиралось голубое, словно в сказке. Что травы и листва — зеленые, а, скажем, небо — голубое, это и козе понятно. Сразила наповал контрастность цвета: синь и зелень, зелень и синь... Свежесть и яркость красок. Вот когда Илюха понял, почему бывало трудно дочку от цветных муляшек оторвать...

Из райцентра через Воропаевку маршрутные автобусы ходят трижды в сутки: утром, днем и вечером. Но уже не утро было и еще не день — девять сорок пять. Илюха Погорелов подался на большак, голоснуть решил за переездом. Повезло. Не успел он подойти к шлагбауму — позади машина просигналила. Оглянулся — бензовоз Витальки Голышманова, дружка из Голышмановки.

Опустив боковое стекло, Виталька из кабины перевесился.

— Погорелов, друг мой рыжий, ты ли это, а? Неужто жив, чертяка?

— Да вроде бы живым пока признали. Дома разберемся окончательно.

— Ваши, воропаевские, слух пустили, что ты того, одной ногой в могиле. Не сегодня-завтра долго жить прикажешь. Врали, что ли, черти?

— Врали, Витя. Врали!

Виталька, показалось, был слегка разочарован...

Прогромыхал по рельсам товарняк, и переезд открыли.

— Ну, раз живой, тогда садись, — скомандовал Виталька. — Прокачу, как полагается героя! — Он и вправду поднажал на педали, так что покатали с ветерком. То и дело на Илюху, словно на живую знаме-

нитость, взглядывал. — Ну ты, друже, номер выкинул! — изрек он с восхищением. — После вашего ЧП репрессии в совхозе. В особенности против шоферни. Возлютовало руководство. И как же тебя угораздило?

Илюха Погорелов глубоко вздохнул.

— Ладно, дело прошлое. — Виталька выдернул зубами беломорину из пачки, скосился на Илюху. — Главное, что кумпол уцелел. Теперь, небось, умнее будет... Как дальше жить-то думаем, герой? За трактор уже не посадят — верняк. Яшку, кстати, тоже сняли.

— Яшку-то за что?

— А для профилактики.

Жалко друга, что тут говорить. По его, Илюхиной, вине пострадал дружок-приятель. А проведать приезжал — умолчал об этом. Надо бы зайти.

— Куда теперь подашься? — Виталька чиркнул зажигалкой.

— Поживем — увидим. Пока что дома посижу. По справке. Оклемаюсь помаленьку, а там куда пошлют... А то, слышь-ка, пастушить... Подальше от соблазнов!

Виталька засмеялся недоверчиво. Илюха призадумался. Чуть-чуть тревожно было на сердчишке... Он поерзал на сиденье, кашлянул в кулак.

— Не знаешь, где сейчас моя?

— В Голышмановке у матери. Вчера их видел вместе — грядки поливали... А что? — Виталька оживился. — К тебе не приезжала?

Илюха впал в уныние. Не свершилась тайная надежда — не вернулась Татьяна домой.

Ох, Татьяна-растатьяна! Мудреная ты женщина. В больницу приезжала, честь по чести посидела... К последней операции готовили в те дни. К последней и ре-

шительной. Как сказал один поэт: быть ему или не быть...

Ему-то быть... А быть ли вот семье? Вопрос!

Было от чего задуматься Илюхе. Он и в больнице, глядя из окна на скучную котельную, думал об одном. О жене Татьяне и дочурке Гале. И о себе, понятно, думал... «О-ох! Как-то мне жить! Ох! Как не тужить!» А жить-то надо, черт возьми.

Когда зимой Татьяна, психанув, сбежала в Гольшмановку к родителям, он ее побег серьезно не воспринял. Думал, фокус. Сдуру баба бесится. Перебесится — вернется. Вот только огороды в мае подойдут, и явится, как солнышко. А солнышко с хара-актером, однако, оказалось! Теща не встревала б. Старуха, видно, воду мутит...

Сказать, что он, Илюха Погорелов, 33-х лет от роду, — конченный алкаш, каким являлся, например, покойный тесть, ни у кого язык не повернется. Тесть, Ерема Коробанов, дважды исправлялся в ЛТП, чуть было не скончался там от рвения. «Сердце мое, землячки сердобольные, от вашей заботы устало», — незадолго до кончины потешал старик честной народ, хлопая ручищей скотобойца по карману брюк, из которого в любое время суток торчало горлышко бутылки.

По-черному, как тесть, Илюха не закладывал, но и сказать, что трезвенник, как тот же Гольшманов или потребляющий культурно — по наперстку перед ужином, как, к примеру, председатель рабочкома Злотников, тоже было бы ошибкой. Илюха Погорелов ходил в середнячках. Во всем — в большом и малом, в быту и на работе. Что называется, когтей не рвал, в передовые не стремился. Как всякий уважающий себя мужик. Как все простые смертные в совхозе «Воропаевский»... Знал цену коллек-

тиву. Он неизвестно от кого произведен на свет был в городе, в шумном молодежном общежитии. Его веселая мамаша работала на стройке нормировщицей, слыла за птицу вольного полета. Уже имея на руках младенца, подхватила стыдную болезнь и однажды ночью то ли от позора, то ли от усталости в веселье вздернулась в подвале. Илюха — плод любви свободной — из шумной молодежи попал в унылую обитель бабушки Андроновны, в село Малопичугино, что стояло некогда у Солнечного озера. Набожная Андроновна вскормила и вспоила, но воспитал Илюху коллектив: школа, армия, совхоз...

Коллектив Илюха уважал, готов был поддержать его по праздникам, с получки, в выходной. И ни один из воропаевцев не уличил его в пристрастии к спиртному, никто не выделил из массы средневывпивавших. Татьяна — уличила. Она работала портнихой в КБО, сидела над машинкой в одиночку и, может быть, поэтому не прониклась должным уважением к родному коллективу. От выпивок Илюхиных бесилась: «До поры до времени! Отец не сразу опустился, и ты не исключение. Не жалаю дочери материной участи — натерпелась от родимого папаши. Пить не бросишь, к старикам уеду». — «Съезди, съезди, — разрешал, дурак, великодушно. — Отдохну немножко от твоих нотаций!»

Дохохмился, идиот! За месяц до ЧП пришел домой на взводе, а на столе записка. Дочуркиной рукой, но явно под диктовку матери: «Папка, мы уехали к бабуле, потому что тебе не нужны».

Печальное кино. Когда же оно кончится?

Виталька Голышманов думать не мешал, крутил молчком баранку. Выехали к озеру, встали на развилке. Налево — Воропаевка, направо — Голышмановка...

— Тебе куда? — спросил Виталька. — К теще или в Воропаевку? Могу в любую сторону — пара пустяков.

— Потихонечку дотопаю, торопиться некуда.

— Гляди, а то подброшу. — Виталька вышел из кабины, сдернул через голову рубаху. — Скупнемся, что ли, Погорелов?

Солнышко пекло, но Илюха отмахнулся: вода у берега нечистая. Мертвая вода...

Когда-то Солнечное озеро было гордостью района. Глубокое, прозрачное, оно имело форму эллипса, от вершины до вершины — километра три, кишело золотыми карасями, жирными гольянами. По бокам простирались луга, а на противоположном берегу, где в камышовых зарослях за желтой отмелью чернела ветхая рыбацкая избушка, начинался бор. Свиноферма загубила озеро. На берегу из года в год росли зловонные горы навоза, с талою водой бурные потоки устремлялись вниз... Нехватка пахотных земель предрешила судьбу Малопичугина. Это Илюха теперь понимает, а тогда, четверть века назад, свято верил в бабушкины сказки...

«Русалки выжили народ, — утверждала старая Андроновна. — Они тут шибко бедокурили. Как-то раз в субботу истопила баню, под вечер веничек под мышку — и пошла. Иду и вижу издалека: дверь банечная настежь, на окне фонарь... Что такое, думаю, кто в баньке побывал? Заробела, парень. Стою серед дороги, стою, не шелохнусь... И вот они из баньки! Да стайкой, парень, стайкой! С берега да в воду, с берега да в воду! Да хохочут, да хохочут! Голые, волосья по плечам... Я бельишко побросала, веник в сторону и — деру. Откуда прыть взялась. Дед, кричу, русалки в бане! Дедка не

поверил, сам туда направился. Я ждать-пождать, гляжу, идет, в руке — пучок травы. Русалки натрусили! Во как, внучек, шкодили!»

Илюха улыбнулся, вспомнив бабушкин рассказ. Вспомнил и соседских девок Голышмановых — Виталькиных сестер, — наверняка устроивших спектакль от скуки...

Виталька накупался, выбежал на берег. Посмотрел по сторонам, принялся выкручивать трусы.

— Ты бы все-таки заехал за Татьяной, — дал совет Илюхе. — Хватит вам людей смешить!

— Только не сейчас, надо отдышаться.

— Самое время сейчас. Самое время! — горячо возразил Голышманов. — Другого, рыжий, может и не быть.

— Ты, пророк, надень трусы и кати домой! — Илюха неожиданно вспылел. — Не засти солнышко, советчик!

— Дурак, — сказал Виталька. — Придурок натуральный.

Три месяца отсутствовал Илюха Погорелов в родном совхозе «Воропаевский», а новостей скопился ворох. Прискорбных новостей.

Дружка-приятеля Овсянникова Яшку действительно турнули с трактора. Правда, ненадолго — до покоса. А пока он то в слесарке ошивался, то слонялся по деревне полупьяный. Вечером явился с банкой «самоделки» sprysнуть встречу, но Илюха, поразмыслив, отказался, сослался на запрет врачей. Какая, к черту, выпивка, когда кругом сплошные неприятности. С расстройства Яшка выпросил у друга мотоцикл, погнал к братану в Голышмановку...

За нарушение правил советской торговли — продажу водки до одиннадцати — отстранили от работы продавщицу Тоню. Добрейшей души человека Воробьеву Тонюшку перевели в уборщицы. И она руки не пода-ла, когда Илюха забежал за куревом. Торговала злая, как собака, бывшая уборщица Тася Голосистая. Обменялись с Тонюшкой халатами...

Но имелась новость и приятная. Татьяна хоть и не вернулась, но огород картошкой засадила, земля не пустовала. На что-то, видимо, надеялась. И это «что-то» обнадежило Илюху. Он повеселел. И как-то вечером пришла к нему идея — удивить Татьяну. Такое выкинуть, такое отчебучить, чтоб ахнула она. И чтоб задумалась, когда вернется (а она, конечно же, вернется, в том сомнений не осталось), от какого счастья, дурочка, хотела отказаться!

Утром Илюха проснулся чуть свет, сбросил в ноги одеяло, сладко потянулся, спрыгнул на пол. В складках белой шторы золотой рыбиной трепыхнулось солнце. Илюха улыбнулся ранней гостье, подошел к окну и раздвинул шторы. Золотая пленница прыгнула на стол, подскочила к потолку, ударилась о балку, рассыпалась на тысячу мальков...

— Слушайте, слушайте, гр-ремит со всех стор-рон! — забазлал Илюха и в трусах и майке выскочил на двор, где под навесом был устроен душ. После бурных водных процедур докрасна растерся полотенцем, основательно позавтракал, закатал рукава на рубашке. Реализация задумки началась с побелки и покраски. Илюха поднатужился, сдвинул мебель в угол, все, что можно, выволок во двор, остальное застелил газетами. На неделю в доме воцарился кавардак...

— Генер-ральная уборка! Капитальная убор-рка! Была гр-рязная заборка — стала чистою забор-рка! — рокотал по комнатам Илюхин голосище, а обладатель оно-го в краске и известке, с кистями и тряпками в руках кружился, как волчок.

Затем он перешел на огород. Жена картошку посадила, но к грядкам не притронулась. А у соседей, вы-смотрел Илюха, зелень закурчавилась, проклюнулся чеснок, по четвертому листочку выпускали огурцы. Он взялся за лопату и за грабли, сменил репертуар.

— Сама садик я садила, сама буду поливать!

За посадкой огурцов застал его Овсянников. Дру-жок-приятель появился, как обычно, с банкой «само-делки», но необычно мрачный и язвительный. Покос еще не начинался, и Яшка продолжал бездельничать.

— Привет мичуринцам! — осклабился Овсянников, присев на корточки поодаль. Поглядел ехидно на Илюху и выдал сногшибательную новость. — Слыхал, что де-лается, а? Водку запретили. С сегодняшнего дня до окончания уборочной. Сухой закон ввели, мерзавцы! — Он ожидал немедленной реакции, но друг как будто не расслышал.

— Ты что, не понял, Погорелов? Или не поверил? Seriously говорю, без дураков! — Яшка заглянул в Илю-хины глаза и понял все. — Та-ак,— промолвил он, при-поднимаясь,— с тобой все ясно, корешок. Испортила больница... Опять со мной не выпьешь? Запретили, да?

— Ага,— кивнул Илюха.— Как, сказали, тяпнешь, так и ханус-манус... А пожить охота.

— Выходит, зря тебя спасал. Лучше б не старался. Опять, выходит, к братке подаваться? Дай мотика сго-нять!

— Нет,— сказал Илюха.— Догоняешь рано или поздно... Завязывай дурачиться. Ходишь, как юродивый, с этой «самоделкой»!

— Нашелся мне указчик! От тебя не слышал! — Яшка фыркнул, рот раскрыл.— А ты случайно, не лечился? Если да, тогда... понятно! Сочувствую, дружище! — Он смерил друга жалостливым взглядом сверху вниз и с боку набок.

Илюха сокрушенно рассмеялся.

Июнь стоял, как по заказу. Дала ровные, сильные всходы картошка, ковром полезла лебеда. Илюха взялся за прополку.

Прошла еще одна неделя, потом еще одна, потом еще...

Не пил Илюха Погорелов!

Кое-кто в родном совхозе усомнился в добровольности отказа от спиртного. С чего бы это вдруг? С бухты-то барахты? Не обошлось тут, надо полагать, без язычка Овсянникова Яшки. Бывшего, увы, дружка-приятеля. К Илюхе он уже не заходил, а перед началом сенокоса перестал здороваться...

Прошел слухок: в райцентровской больнице открылся платный наркокабинет, где лечат не задрипанным антабусом, как раньше Коробанова, а чуть ли не японскими какими-то таблетками. Спустя еще неделю слухи обновились: вшивают в задницу «торпеды» с сильным ядом, как выпьет после этого невыдержанный хроник, тут ему и крышка. Потому и держится. Еще был слух: в те дни, когда Илюха Погорелов валялся в хирургии, приезжал в райцентр известный всей стране профессор. Тот, что внушает: водка — бяка.

Дорого берет, но лечит без халтуры. Поглядите, кто не верит, на Илюху Погорелова.

И главное, кто слухи распускал, кто на Илюху со-страдательно поглядывал? Кто косточки ему перемывал? Жены средневypивающих, в душе наверняка желавшие того же и своим мужьям!

Другой бы кто-нибудь на месте Погорелова из принципа рассеял слухи. На деле б доказал абсурд. Илюха же похмыкивал. Но за женой и дочерью по-прежнему не ехал. Все оттягивал, чего-то выжидал...

В первых числах августа вызвали в контору. Вызвал, как ни странно, председатель рабочкома Злотников Ефим, мужик крутой и своенравный.

— Ну, как здоровьишко, артист? — осведомился председатель и первым подал руку.

— Да ничего, окреп. Скоро на работу.— Илюха поздоровался, присел и ухо наострил. Не за тем, понятно, вызвал председатель, чтобы о здоровье справиться. Но и нахлобучкой вроде бы не пахло. Уж очень благодушно был настроен профсоюзный деятель.

— А раз окреп, чего в контору не являешься? Боишься нагоняя получить? Не мешало бы тебя, конечно, пропесочить. Самая работа наступает — уборка на носу, а как тебе доверить трактор? Права не имеем. Ну да ладно, что теперь! Тем более, слыхал, за ум ты крепко взялся. Хорошо, если одумался.

Илюха напряженно ждал. Председатель рабочкома повернулся к нему боком, поглядел в окно.

— Я для чего тебя позвал? Скоро в рабочкоме отчетно-перевыборное... Решили мы ввести тебя в комиссию. В какую, не придумали, но позже уточним. А потому сгоняй на конференцию, побудь от нашего со-

вхоза. Ехать должен я, но я, поверь, в запарке. Зам тоже по уши в работе. Съезди, поприсутствуй...

Илюха чуть не брякнулся со стула.

— Ничего себе пельмешки! Меня — на конференцию? За какие подвиги? Ушами хлопать, да? Ведь там же надо выступать!

— Ехать больше некому! — отрезал председатель. — Не бойся, не придется выступать. Кому надо выступить, тот уже предупрежден. Сиди себе и слушай. Что дельное услышишь, в блокнотик занесешь. Блокнотик-то имеется?

— Зачем он мне?

— Держи! Все, вопрос исчерпан... Оформляй командировку.

Ну что на это можно было возразить? Как можно было отвертеться, когда кругом перед совхозом виноват?

— Дела-а! — сказал Илюха.

Задал Злотников задачку! Увы, чего не сделаешь на пользу коллективу? К тому же если доверяют. Доверие, оно приятно всем. Вдвойне приятнее, когда тебе до этого вообще-то мало доверяли.

Не хотел Илюха ехать, но пришлось. Как в холодную воду шагнул: пока на берегу — и зябко-то, и знобко, а шагнул и окунулся — ничего, терпимо...

Вошел в салон маршрутного автобуса, с приветственной улыбкой вскинул руку: в углу, у окна, сидел и читал засаленную книгу главный зоотехник соседнего совхоза. Через полчаса, в деревне Алексеевке, подсел ветеринар. Сразились в подкидного, причем настолько увлеклись, что не заметили, как прибыли в райцентр. Едва ступили на перрон, приятный женский голос с

мегафонной хрипотцой пригласил к платформе. Дежурный агропромковский автобус доставил делегатов в гостиницу «Сибирь», в холле миловидная девчушка-профсоюзница вручила каждому программку конференции.

После регистрации семьянин ветеринар побежал на рынок, зоотехник — в автомагазин, а Илюха, поразмыслив, подался в «Детский мир» купить дочурке форму. К сентябрю, рассчитывал, Татьяна обязательно вернется. Дошли ведь слухи до нее, что он как солнышко все лето. Дошли. Не могут не дойти...

А поутру открылась конференция. Актальный зал Дома колхозника был переполнен, никто ни на кого не обращал внимания, ни один из делегатов не спросил Илюху, чего он здесь забыл. Напрасно беспокоился.

В первых рядах сидели профсоюзники со стажем — люди сплошь степенные, с красными распаренными шеями. Те, кто помоложе, уселись позади, поближе к выходу, к проходам. Был доклад — поток казенных цифр, в процентах и рублях рисующий унылую картину аграрного района. В конце докладчик с чувством призвал народ к семейному подряду и мрачно удалился. После перерыва выступил другой — старик с утиным носом, тоже из степенных. Он гнусавил, но по делу. Скучно, мол, живет народишко в колхозах и совхозах, пьянство заслонило людям белый свет, молодежь рукой махнула на село, а земля дичает. Что рушится деревня — кто в этом виноват, как дальше жить и на кого надеяться? Старик с утиным носом будто лишь вчера из Воропаевки вернулся...

Делегаты загалдели, Илюха тоже взволновался.

— Верно батя говорит! — с места поддержал оратора. — Пьет народ в совхозе «Воропаевский». Пьет без-

мерно и безбожно. Помутился белый свет! Молодежь, какая городу не годна, тоже к рюмке тянется. В выпивке вся радость. Солнышку не рады, зелени не рады! Два цвета лишь и различаем — белое да красное. В сельповском магазине! — Разгорячился, не заметил, как толкнул речугу.

Старик призвал участников направить телеграмму в адрес руководства. Какого руководства, по какому поводу, Илюха недопонял, но «за» голосовал и к вечеру освоился настолько, что выкинул блокнотик...

Ужинать спустились в ресторан. Илюха с любопытством огляделся. Чистые скатерки на столах, белые салфетки веером в высоких вазах, тонкое стекло фужеров, легкая мелодия ансамбля на эстраде — все это вызывало уважение. Илюха даже оробел. Последний раз он был здесь года три назад, когда приехал шурин из Владимира. С шурином тогда они повеселились...

Зоотехник взял меню.

— Слушайте сюда,— сказал он повелительно.— Курица тушеная... Соус бешамель!

Илюха посоветовал:

— Взять бы что попроще!

— Проще только по сто граммов. За конференцию, за встречу. Как в смысле «одобряем»?

Ветеринар поскреб затылок.

— Я, собственно, не пью,— бормотнул Илюха.

Зоотехник подтвердил:

— Знаю. Знаю, Погорелов. Но тут мы все непьющие...

Ох уж этот коллектив!

...Проснулся Погорелов в рубашке и носках, с зажатым в пальцах галстуком. На неразобранных посте-

лях богатырским храпом заливались зоотехник и ветеринар.

— Ничего себе пельмешки!— Илюха обхватил пылающую голову и тихо застонал... Померкли синь и зелень!

...Опять, как в начале июня, с надеждой на попутку подался на большак, и вездесущий бензовоз Витальки Голышманова нагнал у переезда.

— Кого я вижу, друг мой рыжий!

Всю дорогу до развилка друг не умолкал, скалил крупные желтые зубы.

— А ваши, воропаевские, слух пустили, черти, что ты давно в завязке. Что полный курс лечения прошел. Вижу по глазам твоим печальным — брешут. Брешут или нет?

— Брешут, Витя. Брешут!

— Вот я и говорю... А Татьяна клюнула. Вчера уехала домой, не дождалась тебя с повинной. Хара-актерец, однако, у тебя!

— Уехала домой?!— вскинулся Илюха.

— Уехала, уехала, — подтвердил Виталька.

Впереди сверкнуло Солнечное озеро... Через минуту бензовоз встал на берегу. Виталька взял ведро, вышел из машины.

По брюхо в зеленой воде стояли голышмановские кони, отмахиваясь вялыми хвостами от налипающего гнуса. Солнце припекало, липкий пот струился по спине. Илюха снял рубашку, соскочил с подножки...

— Во-во, охолодись, — заржал Виталька Голышманов.— Первейшее дело с похмелья!

Илюха нерешительно постоял на берегу, плечами зябко передернул. Затем шагнул и плюхнулся брев-

ном, поднял сноп брызг. Носками мощно оттолкнулся от ускользящего дна, поплыл легко, стремительно...

Виталька видел только спину друга, белую, как пена вдалеке, но его некаменное сердце отчего-то дрогнуло. Он бросил в сторону ведро и крикнул, приложив к губам ладони рупором:

— Эй ты, куда поплыл? Там глубоко. Вернись!

Илюха плыл, не откликаясь, не спуская глаз с заветной цели на противоположном берегу. Туда, где чистая вода и небо — голубое...

— Вернись, дурак, — шептал Виталька, боком отступая к бензовозу...

Далеко, на середине озера, рыжим поплавком качалась на волнах Илюхина головушка.

Илюха плыл. И помоги ему, Господь!

Бывает

Наконец-то распогодилось. С утра прояснило, зелень кругом заблестела, над искристыми лужицами заструились испарения. Воробьи на дороге расчирикались — повеселели.

«Давно бы так!» — легко подумалось Володьке Кононову.

На работу Володька не спешил. Он никогда не опаздывал — напротив, всегда приходил первым. Не потому, что особенно туда рвался. Нет. Вставал рано. Какое-никакое хозяйство водилось, надо было управиться: гусей на озеро спровадить, корову после дойки в стадо выпустить, поросенку в загон крапивы охапку бросить. Затем завтрак основательно, слушал по радио сводку погоды. Пока шельшемель, время к полвосьмому набегало. А остальные до восьми полчаса, как ни выгадывай, делу не время. Приходилось идти.



И сегодня Володька шел да покуривал, по сторонам поглядывал. «С ремонтом бы закруглиться, — ворохнулось в голове, — неделю на приколе простоял, на курево не заработал. Не машина, а доходяга, и никаких тебе запчастей».

В конце улицы, в просвете меж тополей за большаком, завиднелась шиферная крыша гаража. Володька выплюнул изжеванный мундштук папиросы и с твердым намерением завершить к вечеру ремонт своего ЗИЛа ускорил шаг.

У домика аптекарши Васюни Цыганковой Володька вдруг споткнулся.

За оградой у Васюни разговаривали. И голос был как будто Гошин. Володька, не веря ушам своим, уставился поверх калитки. И остолбенел: Гоша Знобишин! У Васюни! «Ночной попуткой, видно, прикатил, — догадался Володька, — иначе б вся деревня уже знала».

Васюня, босая, русоволосая, в простеньком цветастом халатике, стояла на высоком крыльце, одной рукой придерживала притворенную сеничную дверь, другой — спадавшую на глаза прядь волос. Гоша с пучком смородинника в руке шел к ней из глубины двора. В трико и тапочках. Непривычно домашний. Смеясь, кричал на ходу Васюне:

— Так нельзя! Жить в деревне и не испить смородинного чая! Мы это дело быстренько поправим.

— Некогда мне чаевничать, Гош, — отвечала Васюня. — Ты пока один тут покомандуй, а я оденусь да побегу, на работу опаздываю.

Васюнины большие глаза на смуглом от загара, парном ото сна лице, показалось Володьке, лучились. Или это солнышко в них так играло...

— Ну и опоздаешь — не беда, — не соглашался Гоша. — Зато смородинного чая напьешься!

— Ой, Гош, какой ты!.. — смеялась Васюня.

— Какой?

— Да ну тебя!

— Нет, правда, какой? — выпытывал Гоша.

— Домовитый... И настырный, как старый свекор!

Гоша поднялся на крыльцо, шагнул в сени. Васюня прикрыла за ним дверь.

И — все.

И ошарашенный увиденным, Володька пошел дальше.

Но Гоша уже не выходил у него из головы...

Васюня и Гоша... Разные люди. Васюня — женщина серьезная, к себе строгая. С мужем не повезло — пил, по пьянке и утонул. Хватила она с ним! Но и Гоша — не подарок. Весь какой-то неприкаянный, неустроенный. И пил перед загадочным своим исчезновением, пожалуй, похлеще покойного Андрюхи. Неужто приняла Васюня Гошу? Вот и пойми их, баб, после этого!

Явился, значит.

Гоша, Гоша... Друг мой неудачливый!

Как-никак, соседями, окно в окно, жили, на глазах друг у друга росли. В один день в школу пошли, за одной партой сидели. В шестом (или — в седьмом?) оба в Васюню влюбились. После уроков домой ее провожали, портфель попеременно таскали. Отвагой перед ней бахвалились: на чужие огороды за огурцами да подсолнухами набеги совершали. Володька, правда, быстро к Васюне охладел — мопед на заработанные в покос деньги купил, не до любви стало. А Гоша

из-за Васюни не один раз с Андрюхой Цыганком врукопашную схватывался.

К Васюне Володька охладел, но с Гошей по-прежнему дружил. Да и не то слово — дружил. Кровные братья, бывает, меж собой так не дружат. Гоша свою мать не помнил, она молодой умерла. Отец с другой женой в соседней деревне проживал, он бы сына и к себе забрал, да у них там школа только до четырех классов была. Гоша с бабкой жил, а когда та померла, больше у Володьки находился. Вместе уроки учили, спали на одной кровати. Дед Мухин, сосед, так, бывало, и звал их братовьями. При Володьке как-то матери рассказывал: «У тебя, Марковна, парни цо-опкие! Даве Андрюха Володьке за что-то по уху съездил, так Гошка коршуном на Цыганка налетел, насилу растащили. Цопкие. Что братовья!» — «Ну и дай Бог, чтоб в обиду друг дружку не давали», — отвечала Володькина мать. Они и не давали...

После восьмого класса Гоша в ПТУ поехал. Там общежитие предоставляли, формой обеспечивали. И Володька вслед засобирался, не захотел отставать. Мать, понятное дело, восстала, велела дальше учиться. Но покричала, всплакнула и смирилась. Отпустила.

В армии, правда, разлучились. Как на беду, Гоша с Цыганком в одну часть угодили. Если б не Цыганок, как знать, может, и у Гоши все бы по-иному сложилось. Хоть и не принято о покойнике плохое помянуть, но о Цыганке хорошее не поминалось. Он и напакостил. Да еще как напакостил!

Вышло так, Гошу перед самой демобилизацией с партией шоферов на уборочную отправили. На целину, как тогда говорили. Цыганка демобилизовали, а Гошу задержали. Тот, конечно, расстроился, Васюне письмо написал:

так, мол, и так, ничего не поделаешь, со свадьбой придется повременить (у них на осень договоренность была). Но письмо не по почте отправил, а с Андрюхой. Цыганок домой приехал, загулял. Спьяну и пришла подленькая мыслишка. «Ты Гошу где оставил?» — спрашивает Васюня. «На сверхсрочную благословил!» — «Врешь!» — «Чтоб мне сквозь землю провалиться!» Васюня верит и не верит. «И ничего не велел передать?» — выпытывает. «Нужна ты ему! У него там офицеровых дочек полно!»

Никто Андрюхиным клятвам сперва не поверил. Но прошел месяц, другой — нет Гоши. Все деревенские осенники повозвращались, а Гоши нет. И у Володьки сомнение в душу закралось. А Цыганок все возле Васюни отирается. Поверила она ему. С отчаяния, что ли, за Андрюху вышла. В деревне свадьба, а Володька от Гоши письмо получает... Свадьбу ломать не стал, зубами перескрипел. Но через неделю на машинном дворе Андрюху встретил и поговорил по-мужски. Ничего, обошлось. Цыганок с полмесяца в больнице в карты поиграл, а Володька столько же райцентровские тротуары метлой прошаркал...

У Васюни с Андрюхой с самого начала не заладилось. Только ради сынишки и жили. Да и жили так: Цыганок больше у матери в избушке пропадал.

Невеселое возвращение у Гоши получилось...

Володька вскоре после армии женился — время подошло. Свою, деревенскую взял. Сперва Леночка родилась, затем Натка. Забот прибавилось, успевай крутись. С Гошей как-то незаметно почужели. Что ни говори, женатый есть женатый.

Гоша из-за Васюни, конечно, переживал, но виду не показывал. Хорохорился. Добродушный богатырь,

рубаха-парень, холостяковал напропалую. Бывало, как вечер, на улице впереди ребят с гармонью вышагивает (тогда уже не играли, а он не бросал — форсил). Чубатый, бесшабашный:

*У Егорки на пригорке
расцветает красный мак.
Все ребята поженились,
а Егорка ходит так!*

Володька, дело прошлое, глянет из окна на веселую компашку, и так на душе помутнеет. Тоже погулять хотелось, молодой ведь еще был. А тут Леночка только-только желтухой переболела, а у Натки зубки запрорезывались, температура подскочила.

Однако погулял-погулял Гоша, почудил-почудил да и сник. С ребятами знаться перестал, гармошку забросил. Что-то в нем надломилось. А потом вдруг запил. Права отобрали, с машины сняли, в слесаря перевели. Глядеть на него больно было...

Однажды Андрюха с другом-киномехаником на Иртыш поехали рыбачить, водки ящик взяли, а обратно через трое суток один киномеханик на чужом мотоцикле полуживой со страху примчался: «Андрюха утонул!»

Похоронили Цыганка, и Володька, грешным делом, стал с надеждой подумывать, что со временем у Васюни с Гошей сладится.

Как-то раз Гоша к нему забрел, пять рублей до получки попросил. Володька бы дал, но у самого лишней копейки в карманах не водилось, все Маша, жена, подчищала. И на Гошу тогда напустилась: «Все пьешь? Ну и дурак! Далась тебе эта Васюня! Одна, что ли, в деревне? Мало ли девок по замужеству истомилось?»

— «Расхорошая моя! — приобняв Машу за плечи, рас- смеялся Гоша. — Оттого и холостякую, что выбор слиш- ком богатый, глаза разбегаются, не знаю, на ком оста- новить!» — «Трекало! — рассердилась Маша. — Все бы ты смешками. Из-за Васюни ли спиваться, она тебя лишний месяц не подождала». А Гоша посерьезнел и, уходя, обернулся от порога: «Ты, Мария, Васюню строго не суди. Я больше ее виноватый... А про девок так скажу: их много, да любовь, видно, все-таки одна. Первая. А все, что потом, — осколки. А на фига мне осколки?»

Деревня есть деревня. Похоронили Андрюху, и досу- жие языки разное про Васюню с Гошей заговорили. Дес- кать, он давно к ней клинья подбивал, случая ждал под- катиться. Однажды Гоша пьяный в слесарке спал, а Ва- сюнина свекровь окна у вдовы перебила. «Бесстыжая! — разорялась на всю улицу. — Сука такая-растакая! Мужу, как похоронили, сорока дней не сравнялось, ноги у по- койника не остыли, а ты!..» — Обезумевшей от горя ста- рухе Гоша в Васюнинском окне пригрезился.

И Гоша исчез. Заколотил свою избушку и уехал. Никто не знал, куда. И стали его потихоньку забы- вать, будто не было такого. И Володька стал забывать. Был друг, да сплыл. Куда девался, надолго ли — не гадал. Не до того было.

И вот — объявился Гоша.

У Васюни...

Володька заметил, что утреннюю легкость как рукой сняло. Работа не шла на ум. Там и делов-то оставалось — снять радиатор да как следует прочистить, весной промыть поленился, движок и обессилел. Володька ру-

кава засучил, вокруг машины походил, попримеривался. Только к радиатору пристроился, ключ как назло с железа соскользнул, палец раскровянил. Володька в сердцах выматерился, ключ в угол зашвырнул, в бытовку ушел. Там Гешка Мухин, деда Мухина внук, «Огонек» рассматривал. Вернее, обложку с кроссвордом от «Огонька». Журнал на столе с понедельника лежал, от него с каждым днем убывало, одна обложка и осталась.

— Во! Может, ты, Кононов, секешь? — встрепенулся Гешка. — Ну-ка, шевельни извилиной: «Балет А. Хачатуряна» из семи букв?

— Чего, чего? — приостановился Володька.

— С вами все ясненько, Кононов, — взглянув на него, вздохнул Гешка. — Вы, маэстро, мне далеко не помощник.

— Ты уже третий день про этого Хачатряна спрашиваешь! — рассердился Володька. — Балетмейстер выискался. Шел бы лучше вкалывать!

— Во, во, это наше дело, это мы моге-ем, — дурашливо протянул Гешка. Длинно зевнул, потянулся до хруста в суставах, заломив над головой руки. — Только в этом мы и сильны. А ведь кто-то, гадство, в этих балетах-кордебалетах собаку съел!

Володька промолчал.

Гешка скатал обложку в трубочку, к глазу ее приставил, на Володьку навел.

— Кононов, чегой-то у меня, язви его, нос зудится, а?

— Не знаю, с чего зудится, — буркнул Володька.

— Хороший нос, говорят, за полдня чует, — намекнул Гешка. — Ты как сегодня после получки насчет... дровишек?

— Никак.

— Серьезно? Нет, серьезно, да?!

— Отлипни.

— Во дает, — удивился Гешка, — а я думал, как всегда, поддержишь инициативу!

Володька сел у окна, пластырем из аптечки ссадину на пальце залепил, закурил. Тут механик с улицы зашел, и Гешка мышью из бытовки шмыгнул.

Володька курил тоскливо, а механик, молодой парень, недавно из техникума, то и дело хлопая дверью, выходил и заходил, пил воду из мутного графина, рылся в бумагах на тумбочке, водил мазутным пальцем по замусоленным страницам телефонного справочника, но не звонил. На Володьку искоса поглядывал. Это и раздражало: «Пыхтит, как ежик, а не накричит, из бытовки не погонит. Вот так целый день пропыхтит и слова не скажет. Начальничек!»

Володька задавил окурочек в пепельнице и вышел.

В обед кое-как дочерпал миску борща и отказался от добавки.

— Чего смурый такой? — заметила жена. — На работе неполадки?

— С чего взяла?

— По тебе вижу.

— Видит она!

— Дак, конечно, вижу. Что-то неладно. Поди, с начальством поцапался?

— Да все ладно! — вспыхнул Володька. — В том и дело, что все ладно. Так прям ладненько, что лучше некуда!

— С тобой ладно? — Маша застыла у стола. В одной руке поварешка с борщом, в другой — крышка от кастрюли.

— Тьфу ты, забуксовала-заладила! — Володька рывком поднялся и схватился за папиросы.

Маша опустила поварешку в кастрюлю, зло выговорила:

— Опять, я гляжу, замудрил. Как получка, так тебя бес в бока шпигует, так и шпигует. Места не находишь.

Володька хлопнул дверью...

Трудно прошел день.

Вечером со скотиной управился, на лавочке посидеть вышел. Старик Мухин из окна его увидел, тоже приковылял, рядышком одышливо опустился. Сидел и время от времени вздыхал глубокомысленно:

— Хлеба, парень, доходят... Колос ши-ибко чижелый!

— Доходят, ага, — машинально соглашался Володька.

И опять долго молчали.

— А дожжи, парень, маненько напаскудили. Местами полегла ржичка...

— Подыдем, не впервой.

Натка, кровинушка Володькина, на качелях раскачивалась. Он еще до армии у себя за воротами, у мухинского палисадника, два столба вкопал и в перекладину ломик на скобы укрепил — турник сделал. Теперь этот турник для Леночки с Наткой в качели переоборудовал. Натка плавно покачивалась, резиновыми сапожками лужицу под качелями бороздила, напевала вполголосочка:

*Я качалась на качелях,
под качелями вода.*

*Красно платье замочила
— дайте белое сюда!*

И чем дольше Володька на дочурку глядел, тем больнее на душе становилось. Он замечал, как Маша то и дело из окна выглядывала и вновь в проеме скрывалась. «Следит, — догадался Володька, — не уверяется, что с получки на сухую обходится». Но досады на жену не испытывал.

— Слышь, дед, — обратился он к Мухину. — Сегодня Гошу Знобишина видел. Вернулся, оказывается.

— Ну-ну? Теперь пойдет! А то ведь выручка упала. Водка прокисает.

Володьку аж передернуло — за живое задело. «Вот ведь люди! Нет, чтоб спросить, где видел, как видел!»

— Он, может, теперь другой, Гоша-то!

— Э-э, парень, — вздохнул Мухин, — горбатого могила исправит. Кому что дано!

— Чего дано, чего это дано? — загорячился Володька. — Что он, пьяницей, по-твоему, родился? Дано-о!

— А ты пошто, парень, вспетушился? — прокашлял дед. Он новую сигарку сворачивал, и она у него в пальцах рассыпалась. Кисет в карман сунул. — Дайка лучше свою беломорскую, — попросил у Володьки.

Тот протянул начатую пачку.

Мухин закурил, затянулся, втянув серые худые щеки, губами причмокнул.

— Сырые они у тебя, что ли? — крякнул недовольно. — Не легкие надо иметь, а насос.

— Все смолишь, — неодобрительно отозвался Володька. — Не в твои годы курить бы. Там, наверное, внутрих, все черным-черно от деготи... Помрешь скоро, а все смолишь.

— Ну уж хрен! — неожиданно в кашле всхрипнул Мухин. — Помирай сам, коли жисть опостылела. А я

еще маненько небо покопчу, мне не в тягость. Это вам, молодым, погляжу, все едино: что жить, что околеть.

— Как это так? — не понял Володька. — Что-то ты, дед, забуровил!

— А нисколечко не забуровил, — сердито выдохнул Мухин. — Нету у вас, нынешних, вкуса к жизни. Без радостей живете. Тычетесь вслепую по углам, как котята мокрые. Каждый сам по себе. Раньше, бывало, на лавочку выйдешь к вечеру, слышишь: там гармошка, там гармошка. Веселится молодняк. И старые люди, на них гляючи, в кружок поботолить сойдутся. А щас никого, хоть шаром покати. Все по своим углам. Старички и те на запорах с ужина, сроду такого не бывало...

— Что ж, по-твоему, лясы по вечерам точить — в этом вкус? — съязвил Володька.

— А может, и в этом, — серьезно, не уловив насмешки, ответил Мухин. — Я человек не больно грамотный к умным разговорам, а только, парень, так скажу: на фронте как прижмет тоска по дому, так мне все посиделки и виделись. Дети, баба да посиделки. Уж как нас только не ломало, не коверкало! Иной раз махнешь рукой, подумаешь: скоря конец, чтобы отмузиться. А вспомнишь — жить охота. Хватаешься за соломинку, землю грызешь. А вы?.. Да что там говорить! Каб вы понимали!

— Володь, иди ужинать! — позвала из окна Маша. Володька на Мухина внимательно поглядел.

— С тобой, дед, не соскучишься. Не сразу сообразишь, что к чему.

— А ты покумекай на досуге, — посоветовал Мухин. — Может, дойдет.

Натка все покачивалась да распевала:

... бело платье замочила

— дайте синее сюда!..

Володька еще раз хмыкнул, любимицу с качелей позвал:

— Пойдем, доча, домой. Мамка ужинать кличет.

После ужина у телевизора посидел. По второй программе шло кино. Про какой-то колхоз, где мужички целыми днями пластались друг с другом в конторе, а грудастые, пышнотелые колхозницы с песнями пропалывали свеклу и дружно корили Одарку, которая с агрономом снюхалась.

Володька до конца не досмотрел, лег, затылок руками обхватил...

Вот ведь штука — жизнь! Живешь, не задумываясь, без оглядки — и все-то вроде у тебя ровно да гладко впереди как будто все ясно и просто. Но вдруг ни с того ни с сего поймешь, что скучно живешь. Да что скучно — плохо. Хуже некуда. И что обидно — чуешь это, а объяснить не в силах. Как блажной становишься: все тебе не так, все тебе не этак. Вот что худо. И, застигнутый врасплох, начнешь в себе, в прошлом своем ковыряться. Ищешь там хоть что-то противоречащее своему открытию, но, к огорчению, находишь, что хорошего действительно кот наплакал.

Хотя, конечно, если тебе тридцать с небольшим, ты женат, у тебя две дочурки, работа — любимая или нелюбимая, не столь важно, если она кормит и идешь на нее легко, квартира, а в ней все, что положено иметь в порядочной квартире, если, кроме всего прочего, у тебя хозяйство, гараж, а в гараже хоть и старенький, но все же на ходу «Иж-Юпитер» с коляской, то вроде грех на судьбу плакаться. Живешь если не лучше, то, во всяком случае, не хуже других.

Однако втемяшится в голову! И откроешь, что все твое прошлое — не что иное, как чередование черно-красных календарных будней. Причем по закону календаря черных всемеро больше. И что всего обидней: ничегошеньки не сделал, палец о палец не ударил, чтобы изменить что-то в себе, зажить, как мечталось когда-то — было ведь?

Ничегошеньки не сделал. И не подумал.

Володька глубоко вздохнул, на бок повернулся... Разве это жизнь? Утром встал, глаза разлепил, по хозяйству управился и — на работу. С работы пришел, опять допоздна по хозяйству. Затем брюхо набил, у телека посидел — и на боковую. Каждый день одно и то же. Каждый божий день... Хорошо, когда покос или уборочная, все разнообразие. Обленился, опустился. Ни поехать, ни пойти никуда не тянет — ни в кино, ни в гости. Ни к тебе никто, ни ты ни к кому. В отпуск сто лет не ездил. Полжизни, можно сказать, пролетело, а чего хорошего видел? Моря, и того не видел. А как мечтал на море съездить! Зато завел сберкнижку. Для чего? Когда, как не сейчас, — девчонки, слава богу, подросли — махнуть куда-нибудь с семьей. В Сочи, например. Или в Анапу. Или куда там еще люди ездят?

Но главное не в этом. Гоша на глазах погибал. Пусть для других он такой-рассякой, пьянь беспробудная, но ты-то его знаешь. Знаешь, что за человек. Но не зашел, не пригласил. А он, может, ждал. Кого ему больше ждать?

И так жалко стало упущенного, такая дремучая тоска обуяла — кулаком по стенке саданул.

— Ты чего? — испуганно спросонок спросила Маша.
— Приснилось что-нибудь?

— Приснилось... Спи.

До полуночи проворочался.

«Все, — приказал себе, — так больше нельзя. Пора бы и встряхнуться!»

Он мысленно перечеркнул свое серенькое прошлое, увидел впереди просвет, еще не обозначенный четко, зыбкий, расплывчатый, но уже притягивающий, вселяющий надежду. И так поверил в лучшее завтра, что бесконечно долгой показалась предстоящая ночь, долгой и тягостной, как все прошлое. И подумалось: чтобы не отступить, надо немедленно чего-то предпринимать. Сейчас же, сию минуту.

— Ты не спишь, Маша?

— Ну?

— Я что надумал... Давай, пока уборочная не началась, мотанем куда-нибудь.

— Куда? — на локте приподнялась жена.

— В отпуск.

— Долго думал?

— А что? Съездим, проветримся, а то ведь засиделись. Все дома и дома. Не старики еще!

— А хозяйство на кого?

— На Мухиных оставим.

— Больше ничего не придумал? Кто бы за ними присмотрел!

— Да ну. Они, слава богу, еще шустренькие.

— А умишки у обоих уже детские... Что это тебе вдруг вздумалось?

— Живем как-то неладно...

— Плохо, что ли?

— Не в этом дело... Скучно!

— А-а! Больше б дома по хозяйству ковырялся, некогда б стало скучать! — Маша отвернулась, ткнулась носом в ворс ковра.

И до Володьки дошло: с женой будет сложней. Ее не просто расшевелить. Но и отступить был не намерен.

— Деньги с книжки сыму, — заявил он. — «Урала» куплю. «Ижака» продам, а «Урала» куплю. По нашим-то дорогам на «Ижаке» не больно разгонишься, а на «Урале» — милое дело. Хоть по грузди, хоть по ягоды.

— Еще что сколобродишь? — недоуменно уставилась Маша. — «Урала» ему захотелось! Один мотоцикл на железки разобрал, теперь другой подавай. Богатей выискался!

— Сперва, конечно, в отпуск, — продолжал Володька. — Завтра же заявление напишу. Живем, как эти... Хватит! Девчонок с собой повезем. А то чего ж видели? Вон, у людей, посмотришь, дети в музыкальных школах учатся. В райцентре бываю, так идешь мимо — пиликают, кто на чем. Родителям приятно послушать. Ты свозила бы Лену, может, примут.

— Так ведь возила уже! — Маша все еще буравила Володьку подозрительным взглядом.

— Ну и что сказали?

— Абсолютно нет слуху.

— Так и сказали? — не поверил Володька.

— Так и сказали.

— Врут, поди. Мест нет, вот и слуху нет... Ты ей ко дню рождения ничего не купила?

— Господи! — простонала Маша. — Месяц впереди!

— Не покупай, не надо. Я куплю.

— Или присмотрел чего?

— Давненько присмотрел. В июне с собой ее в рай-центр скатал, по магазинам поводил, так в универмаге аккордеон увидела, глазенки загорелись: «Купи, папка, большую гармошку!» Куплю. Пускай учится. Чего видели-то? Городские, послушаешь: в цирк не хочу, в театр не хочу, в балет не хочу! Хачатрян им не Хачатрян. А наши...

— Какой Хачатрян? — перебила Маша.

— Да композитор один... По балету.

— Понимает кого-то! — недоверчиво проговорила жена. — Нет, Володь, честно, ты сегодня не того, не клюнул малость, а? Я тебя чего-то не пойму. Соображаешь сам, что колобродишь? Такие деньги на музыку ухлопать, а что она с ней делать будет? Любоваться на нее?

— Пусть учится!

— Говорят же — слуху нет. И у кого учиться? У Егора? Днем в магазине была, слышала, явился твой друг Гоша. Видел его, нет?

— Видел.

Володька сел, обхватил колени руками. Маше тоже спать расхотелось, разогнал Володька сон. Села рядом, зевнула.

— И чего, спрашивается, уезжал? Сошлись бы с Васюней сразу да жили, если уж такой роман.

— Какой такой роман?

— Забыл, какие романы бывают?

— А-а! Любит, вот и уезжал.

— Здравствуй! Раз любит, зачем уезжал?

— Тебе, Маша, не понять.

— Надо же, — обиделась жена, — какой ты у меня понятливый! Давно таким заделался?

— Потому и уехал, чтоб Васюню в покое оставили, что ни попадя языками не мололи. Гоша, он такой. Я его знаю.

Маша недоверчиво на мужа покосилась.

— А какой он?

Володька слез с кровати, сел к столу, закурил.

— Помнишь, — сказал он, — когда мы еще бештанниками бегали, за деревней качели стояли? Те, что после сабантуя оставались?

— Ну, конечно, помню.

— Так вот, как-то раскачались с Гошей. Хорошо раскачались. А тут Андрюха Цыганок откуда ни возьмись, встал сбоку и давай, чертенок, еще шибче рассказывать. Изо всех силенок. До того раскачал — вот-вот через перекладину перекувыркнемся. Я ору, что есть моченьки — страшно сделалось. Ноги, руки задрожали. И Гоша, вижу, белый... А осень поздняя стояла, снежок, помню, выпал, морозик прижимал. Веревки — что тросы поделались, обледенели. Хорошо, я в рукавчиках. А Гоша голыми руками уцепился. Но — молчит. Я базлаю, он молчит. Ладно, дед Мухин услышал, Андрюху шуганул. Гоша как на землю ступил, так и сел — ноги отказали. И ладони в крови. Он до того в веревки вцепился, что они ему пальцы в кровь поизодрали. Сел и заплакал. Мухин: ты чего, Егор, реवेशь? Радоваться надо, что не изувечились. А Гоша: я за Володьку боялся. Если б я упал, то и он убился бы. Мухин засмеялся: правильно мыслишь, Егор. Даже одному нельзя упасть, когда вас двое на качелях. Один сорвался — другой следом... — Володька замолчал, сходил попил воды и лег.

— Ну и что? — спросила Маша.

— Как что?

— К чему ты про качели?

— Ну, знаешь! — Володька задохнулся от досады. — Давай-ка лучше спать. А то поругаемся на ночь глядя.

Маша с минуту помолчала и согласилась:

— Давай, правда, спать. На работу завтра...

И Володька поворочался-поворочался и уснул. Да так разоспался, что утром Маша едва добудилась. Он второпях собрался и, впервые опаздывая, побежал на работу.

А утро опять выдалось солнечным, небо полностью расчистилось. Захлопали калитки. Из Васюниной Гоша вышел. С Володькой нос к носу столкнулись.

— Здорово, что ли, Кононов!

— Привет, пропавший без вести! Далеко ль навестрился?

— В контору насчет работенки...

Они потрянули друг другу руки и пошли вместе. Шли молча. Впереди — долгий день. Можно наговориться.

И на душе у Володьки было легко, все вчерашнее улетучилось без остатка. Он даже удивился себе: что же это со мной творилось? Но не смог понять. Отмахнулся. С каждым, наверное, бывает.

Отголосок

Шел 1958-й — четырнадцатый послевоенный год.

В колхозе жилось несладко, беда подступала за бедой: ураганные северные ветры с проливными дождями сменялись суховеями из казахстанских степей, хлеба то ломало, то гноило на корню, то выжигало зноем. Наши отцы и деды все реже вели разговоры о минувшей войне, она для них отошла на задний план...

Только однорукий конюх дядя Семен, единственный сын которого, рассказывали, сгорел в танке, все еще донашивал полинялую фронтovou гимнастерку, дотапывал порыжелые, выдавшие виды сапоги. Каждый вечер под окнами своей избы он бил себя в сухонькую грудь желтым кулаком, матерился и слезно выговаривал спрятавшейся в горнице жене:



— Дура ты, Граньк! Ду-ра! Эт я-то пиньчужка? Да я вот этими руками под огненным Курском в сорок третьем вражину в дугу согнул! Да я кровушкой своей аж на самом Берлине расписался! А ты? Эх ты!

А мы, пяти-шестилетняя деревенская детвора, вых-валялись друг перед дружкой в отбеленных временем армейских пилотках с темными отметинами звезд, подаренных старшими братьями, и, выдавая пилотки за «всамделишные» — фронтовые, подражая дяде Семену, колошматили себя кулаками.

Мы целыми днями носились по улице с деревянными пистолетами и автоматами на изготовку, и тишину оглашало наше пулеметно-автоматное «тра-та-та». Спали и видели себя на войне. И горевали, что опоздали родиться. Война для нас была далеко-далеко в прошлом...

Но вот на улице появлялась высокая седая старуха. Про нее в деревне шептались: мать Фимки-изменника. Мы прекращали «бой» и провожали ее любопытствующими взглядами.

Сухая, как соломина, в расхристанном плюшевом жакете с подвернутыми концами облезлых рукавов, в грязно-белых валенках на калошах, она шла, сутулясь, с отрешенными глазами на плоском бескровном лице. Такой она и запомнилась мне — Плоской женщиной.

Домик ее, скособоченный от ветхости, по окна вросший в землю, с мшистой прозеленью на трухлявой крыше, обнесенный высоким глухим забором, стоял на задах, где мы, детвора, летом играли в лапту, зимой на плашках и салазках катались с горки, а взрослые каждый год устраивали бегунцы — бега верхом на лошадях.

Плоская жила одна. Хозяйства, не считая многочисленных собак и кошек, у нее не водилось, гостей не

бывало. Только почтальонша раза два в последние полгода принесла ей весточки от сына, который, по слухам, отбывал в плену срок за предательство. Нигде старуха не работала. Говорили, правда, что в войну со всеми наравне чертоломила в колхозе, но однажды приняла неловко мешок с зерном или мукой и рухнула наземь.

На людях Плоская почти не показывалась. А если и выходила изредка из таинственного своего мирка, то шла по улице все как-то боком, боком, скорехонько, не поднимая глаз, и не только мы, детвора, сторонились ее, но и взрослые невольно расступались. Очередь при ее появлении в магазине умолкала, собравшиеся посудачить у колодца или на лавочке бабы спохватывались и расходились.

Жизнь Плоской являлась тайной. В деревне высказывались самые немислимые и противоречивые догадки и предположения. Почтальонша уверяла, что в домике полным-полно икон, каждая сама по себе светится, а хозяйка (хотите — верьте, хотите — нет!) с ног до головы в черном тенью бродит по комнатам или замаливает перед иконой Фимкины грехи.

Сельповский сторож, древний старик, доказывал, что, напротив, не Богу служит Плоская, а сатанинской силе, сам видел, как — свят, свят! — ночью из печной трубы выкатился огненный шар размером с клубок, завис над крышей, потом взметнулся ввысь и рассыпался искрами...

Однажды, это случилось зимой, из городского автобуса вышел незнакомец: громадный — глыба глыбой. С бельмом на глазу, в замызганной до лоска ват-

ной телогрейке, в шапке-ушанке с одной болтающейся на ветру завязкой.

Я и теперь ясно вижу его мясистый нос, тяжеловесный, раздвоенный лиловым шрамом подбородок, толстые неопрятные губы, красный лоб и жилистую шею. Он вышел из автобуса с полупустой котомкой, которую держал перед собой обеими руками, словно там был пуд соли. Тогда он показался почти стариком, хотя, думаю, ему не было и сорока.

Под изумленными взглядами оказавшихся поблизости баб и мужиков, под шелест старушечьих губ («Фимка-христопродавец вернулся!») незнакомец скорым шагом через всю улицу проследовал к домику Плоской. Вскоре за оградой вскрикнула и заголосила хозяйка, взлаяли посаженные на цепь собаки, потом все стихло, а через час-другой на огороде затопилась баня...

Вечером того же дня мы, детвора, с неизменной дразнилкой «дядя Сема из назема» увязались за пьяненьким дядей Семеном. Обычно бежали за ним от конюховки до магазина, свистели в четыре пальца, улюлюкали вослед. Конюх не злобился, часто останавливался посреди дороги, топтался на месте, негнущимся крючковатым пальцем манил к себе. Мы робели, но смельчак всегда выискивался, подходил, с настороженным любопытством глядел, как долго одной рукой дядя Семен шарил по карманам и в конце концов протягивал своему преследователю пересыпанную табачной трухой горсть медных монет. Затем, хлопнув пятерней по колену, как бы всплясывал и не запевал — выкрикивал с молодецким задором: «Только вышел на да-ро-гу, штой-то свистнуло у ногу, три часа би-из па-

а-амяти лежал!» Тряс головой и шел к своей избе, а мы облепляли счастливчика, пересчитывали выручку и, недолго думая, бежали в магазин. Покупали там комок слипшейся карамели, которая, помнится, никогда не переводилась.

Но в тот вечер дядя Семен был неузнаваем. От конюховки зашагал не домой мимо магазина, как всегда, а на зады, к домику Плоской. За спиной у него болталось старенькое ружьишко с обмотанным медной проволокой ложем. Он обернулся на выкрики и так грозно глянул, что мы отпрянули и, недоумевая, стали следить за ним издали. Но любопытство перебарывало страх, помаленьку двигались следом. Дядя Семен шел, держась прямее обычного, ступая широко и твердо, и, казалось, не было в те минуты силы, могущей остановить его. Он дошел до калитки, саданул ее сапогом, затряс, задергал изо всех сил. Взлаяли собаки.

— Здравствуй, Фимушка, сын Иудин! — чужим голосом взревел дядя Семен, яростно громыхая калиткой. Она не поддавалась, видно, была изнутри на вертушках, и это выводило конюха из себя. — Выходь поздороваться, землячок, давненько не виделись! Жаждался я тебя, разжеланного! — И столько нечеловеческой злобы, ненависти, отчаянной решимости прозвучало в его голосе, что нам сделалось не по себе. Мы уже догадались, что сейчас на наших глазах произойдет нечто страшное, непоправимое...

— Самолично спросить тебя, шкура, желаю, за сколько кусков проданся, за сколь нашенских жизней свою поганую выкупил? Ты думал, все, сполна расплатился? Думал, смысл кровушку нашу с рук своих? Не-ет, не будет тебе, душегубу, на земле покоя!

Из домика, однако, никто не показывался. Собаки рвались с цепей, захлебывались лаем. Обессилев, дядя Семен грудью навалился на калитку, задохнулся в беззвучном кашле. Но вот он резко выпрямился, сдернул из-за спины ружье, взвел курок, держа ружье под мышкой...

Прогремел выстрел. На лавке у крыльца вдребезги разлетелась стеклянная банка. Ружье выпрыгнуло из руки, отлетело в сторону. Хватанув ртом воздуха, дядя Семен опустился на снег. На выстрел сбежался народ.

Мужики подхватили конюха, поставили на ноги, растормошили. Он, сам еще, по-видимому, не осознавая, что произошло, стоял покорный и послушный. Его повели домой, и он не сопротивлялся.

— Как же так, — шептали его губы, — Фимка, стервец, вернулся, Фимка будет жить, а мой парнишка?..

Через неделю Фимка уехал. Ранним утром его видели на большаке все с той же котомкой. Одного. Плоская не провожала.

С отъездом сына она, казалось, вовсе отрешилась от всего земного. Ее неделями не видели и не слышали. Только ночной перебрех собак, бряцанье цепей, тусклый квадратик электрического света на завалинке из единственного выходящего на улицу окна свидетельствовали о жизни за глухим забором...

В деревне праздновали масленицу. Днем откатали на тройках, отугощались блинами, вечером в домах наяривали гармошки, топотали плясуньи, из окон выплескивались частушки.

И вдруг неистово взлаяли у Плоской собаки...

Старуха в ярости крушила забор. В проломе было видно, как сплеча она лупила колуном по упругим доскам, а они, прогибаясь, пружиня, дребезжали и звенели. Колун отскакивал, как от резины, удары с каждым замахом становились все глуше, бессильней.

И опять, как на выстрел дяди Семена, сбежался народ. Никого вокруг не видя, ничего не слыша, Плоская лупила и лупила по неподдающимся доскам, вкладывая в удары всю свою остатнюю силушку. И не кричала уже, а выла, выла, медленно оседая на снег, босая, взлохмаченная...

Все в каком-то мрачном оцепенении стояли поодаль.

— Господи! — перекрестилась одна из старух. — Да что же это делается, а?

— Жись, — глубокомысленно изрекла другая. — Чужая жись — потемки.

— Фимка, стервец, запродался, а матери какво? Она при чем? — вставила третья.

В кругу заговорили, загалдели:

— Воспитала змейку на свою шейку!

— Яблоко от яблони недалеко, сказывают...

— Разве ж она его на изменушку толкала?

— Нехорошо так, люди добрые!

А Плоская все выла...

Откуда ни возьмись, очутился подле нее дядя Семен. Трезвый. Он, к нашему сожалению, не пил с того памятного выстрела. Конюх выхватил из рук обезумевшей Плоской колун, запустил его через забор в сугроб.

И тотчас ее окружили бабы и старухи. Кто-то заохал, заохал, запричитал, кто-то стал поднимать ее на ноги, но она вырывалась, выскальзывала из рук, снова

падала в снег, билась головой о край обледенелой доски, изгибалась длинным телом. А мы во все глаза таращились на нее, пока тот же дядя Семен не гаркнул на нас, и опять он был неузнаваем, только в глазах блестели не злоба и решимость, а боль и сострадание...

Шел 1958-й, четырнадцатый послевоенный год...

Мы, детвора, спали и видели себя на войне. И горевали, что опоздали родиться. Война для нас была далеко-далеко в прошлом.

Теперь я понимаю, как близко она была. Она и по сей день живет во мне смутным отголоском надрывного стога Плоской.

Костя-Мариша



В то ясное звонкое утро начала октября 49-го года первой ее видела Митрошиха. У Митрошихи среди ночи не на шутку разболелся зуб, и спозаранку она побежала через дорогу к Елизаветешептальщице. Уже у калитки услышала за спиной сочный хруст стянувшей лужицы ледяной корки. Оглянулась. Стороной шла Мариша. Легкая и стремительная, в латаной-перелатаной серой кофтенке, шла, высоко вскидывая острые колени обутых в мужнины кирзачи ног, глядя в небо. Маленькими, темными от загара руками прижимала к сухонькой груди концы вылинявшей шали, бормоча что-то сизыми от холода губами.

Не приостановилась, не поздоровалась. Ветром пронеслась мимо и головы не повернула на оклик изумленной подружки. У

Митрошихи и боль куда девалась. Взглядом за Маришей проследила — та завернула в сельсовет. Митрошиха постояла в раздумье, напрочь забыв вдруг, зачем к Елизавете спешила, и повернула домой...

Вошла Мариша без стука.

— Здоров, председатель!

— Здравствуй, здравствуй! — Председатель сельсовета Кирюшечка Пожидаев запоздало накрыл клочком газеты остатки холостяцкого завтрака на столе. Он и жил в сельсовете, за перегородкой. Покосился на Маришу и категорически заявил: — Если ты, Егоровна, по лошадь за дровами, то здесь мое слово твердое: нет свободных лошадей. Вот свезем хлеб на заготзерно, приходи. Тебе первой велю дать. А пока я председателю колхоза не указчик. Нет, и все тут возражения.

Мариша странно усмехнулась и прошла к столу.

— А не нужна мне твоя лошадь.

Председатель понимающе хмыкнул.

— И дрова не нужны?

— И дрова не нужны.

— Вот как хорошо!

Мариша оглянулась и, заговорщицецки наклонясь к столу, прошептала:

— Дай мне справку, председатель, что я вовсе не Мариша, а Костантин Никанорыч.

— Что ты сказала? — не понял Кирюшечка. От неожиданности он снял широкую ладонь правой руки с изувеченной осколком левой.

— А то и сказала. — Она тряхнула головой, достала из кармашка замызганного фартука кисет. Послюнила палец и стала сворачивать сигарку.

Почему-то тыча себя в грудь растопыренными пальцами, Кирюшечка спросил:

— Ты, что ли, Никанорыч?

— Ну.

Председатель растерялся.

— Выходит, законное имя на мужицкое хочешь сменить?

И опять, горячо дыша в его ухо, Мариша доверительно шепнула:

— Не токо имя, председатель. Я всю себя переиначила.

— Интересно... — тряхнул головой Кирюшечка. И голос повысил: — Ты что мне тут городишь?

— А не кричи, кричальщик! — вскинулась Мариша.

— Дак ты башку с утра пораньше заморочила! — Председатель и вправду сорвался на крик: — Поп я, что ли, крестить вас тут? Вас полколхоза Марусь да Манечек, Марфут да Мариш. А ну-ка, блажь такая на каждую найдет? Я кто вам тут?

— Так они, может, бабы и есть.

— А ты?

— А я — Костантин Никанорыч.

— Мужик?

— Ну да.

— Тьфу ты, — подскочил Кирюшечка. — И давно — мужик?

— Всю жисьь.

Кирюшечка вперил в Маришу глаза.

— Вот что, девка, — произнес он с расстановкой.

— Ступай домой. Ступай себе, ей-богу. А лошадь... Дадут тебе лошадь. Я попрошу за тебя.

— А справку?

Холодок по спине пробежал у Кирюшечки.

— Ты ступай, — сказал он ласково. — А мы тут обмозгуем. Все соберемся, обмозгуем и решим.

— А попробуй вот не выдать! — пригрозила Мариша. — Попробуй только мне!

— Выдадим, — поспешно согласился председатель. — Ступай. Мое слово законное.

— Я ить еще приду, — пообещала Мариша.

К полудню страшная вестъ облетела село. На скамье перед окнами Митрошихиной избы всплескивали руками.

— Слышали, бабоньки, Мариша-то наша?

— Сказывают, стронулась?

— Сказывают! Сама давеча видеела, как по двору во всем Костиковом шастала!

— И-и, девка! Неужто правда?

— Истинный Бог! Глянула я — обомлела. Идет, бабоньки, в рубахе серенькой, в сапожках хромовых, в каковских покойничек, царство ему небесное, в праздники плясал!

— Вот горюшко, а?! И опять, говорят, в Совет подалась?

— А в Совет на што?

— На Костика переписываться!

Как и обещала, днем явилась вновь. Приглашенный в сельсовет председатель колхоза Иван Бураков, увидев Маришу в мужнином наряде, закинул ногу на ногу и кашлянул в кулак. Пожелтевшей от курева щепотью принялся ворошить отвислые усы.

Кирюшечка вышел навстречу, придвинул стул Марише.

— Постою, — отмахнулась она.

— В ногах правды нет, — заметил Кирюшечка.

— А где она есть? — спросила Мариша.

Кирюшечка взглянул на Буракова.

— Ну так что, товарищ Бураков, дадим Марише справку?

— Отчего не дать? Дадим.

— От так от! — вкинулась Мариша.

— А зачем тебе справка? — поинтересовался Кирюшечка.

— Чтоб все по-взаправдашному было, — ответила Мариша. И окинула председателя уничтожающим взглядом. С головы до ног.

Кирюшечка вздохнул и сел за стол. Придвинул ручку и бумагу. Стал писать, диктуя себе вслух:

СПРАВКА

Дана настоящая члену колхоза им. Сталина Гололобовой Марии Егоровне, 1900 года рождения, русской, потомственной крестьянке, вдове Гололобова Константина Никаноровича и матери павших смертью храбрых в боях за Советскую Родину Василия и Дмитрия...

Поставил жирную точку и вручил бумагу председателю колхоза.

— Такое дело, Никанорыч, — сказал, поморщась, Бураков. — Справку надо районной печатью заверить. Без нее бумага недействительна. Тут понимаешь, резолюция нужна.

Мариша недоверчиво взглянула на него.

— Ехать надо, — подтвердил Кирюшечка. — Вот, товарищ Бураков сейчас в район собрался... Поехала бы с ним!

— А чего — поеду! — Мариша подскочила к Буракову, вырвала из рук бумагу, сложила ее вдвое.

К сельсоветскому крыльцу подкатил ходок. Председатель колхоза и Костя-Мариша умостились рядышком.

На скамье перед окнами Митрошихиной избы скорбно вздыхали.

— Увезли от нас Маришу!

— Куда ж ее, беднягу?

— Известно, куда. В больницу к бедолагам.

— Жалко бабу. Жалко!

— Как не жалко, милая. Вся жизнь ее — полынью горькая. Сызмала в хомуте. Только-то зажили ладом с Костиком — война все поломала. Свету белого не видела... За плугом ходила, навоз ворочала, лес валила... Чего тут говорить!

— А рассудить, так верно: ничего в ней не осталось бабского. За мужика и чертоломила. Как-то по весне — Девятое поле засевали — везу сеяльщикам обед, вижу, у брички на дороге копошится. Колесо отвалилось. А везла зерно. Мешки сбросила, колесо поставила, а загрузиться силенок не осталось. Ползает возле мешка и на горб взвалить норовит. Взвалит, с ним и подымается. Сердчишко кровью облилось. На пару наревелись. Коровушками. А токо реви не реви — загрузились. Ох и покорячились!

— Намотала на кулак!

— Да уж, хлебнула лиха!

— Она, бабоньки, с лета заговаривается. С Троицы. Пошла к ней за ситом, а позднихонько хватилась. В сенцы зашла, за скобу взялась, слышу — разговаривает. С кем бы, думаю. Зашла. Сидит одна себе за са-

моваром, а перед ней — три чашки с чаем. Сидит, меня не слышит. И вроде Димку с Васяткой потчует. Я голос и подай: с кем ты, Мариша, беседуешь? Вздрогнула-то, бабоньки!

Лето 55-го выдалось небывало засушливым. До июля не выпало ни дождевки. На корню выгорали хлеба и покосы. День ото дня тревожней становились слухи о бушующих в лесах пожарах.

По вечерам на лавочке перед окнами Митрошихиной избы гадали, не раздождется ли к ночи. В один из таких вечеров с большака на притихшую улицу вышел одинокий путник. Путник пел:

*Корики-макорики,
воробиши полетели,
а-ра-ра-ра-ра...*

Первой привстала Митрошиха.

— А ить Мариша идет!

Митрошиха не обозналась. Мариша подошла к лавочке, смахнула с белой головы спуснутую фуражку, низко всем поклонилась. И завернула к заколоченной избе.

— Так что же ты молчком, Мариша? — вскрикнула Митрошиха.

Мариша резко обернулась, сверкнула глазами.

— Мариша на базаре семечками торгует!

На лавочку вышла на другой вечер. Присела с краю, к старикам. Те молча потеснились, уступили место. Мариша достала кiset, поспешила палец...

Старуха сдала. Лицо вдоль и поперек изморщилось. Пепельно-серая кожа дряблых щек свисала темными мешочками. Голова тряслась. Дышала прерывисто, с хрипами из прокуренных легких.

— Вот, — выдохнула она, — печь протопить пришел. Выстыла изба. Выстыла наскрозь.

Мало-помалу посыпались вопросы: как ты, Костя, где ты, Костя?

Отвечала коротко:

— Живу. Я, бабы, хорошо живу.

— Ну и слава Богу!

— И сыны живут. Хорошо живут.

— Твои сыны?

— Мои. Артем да Вавила.

— А не Васятка с Димитрием?

— Артем да Вавила!

— С тобой живут-то, Костя?

— Не-е, живут отдельно. Письма пишут, до себя зовут!

— Печь протопить пришел?

— Ну. Сыны приедут, а изба выстыла...

Мариша гостила неделю. В воскресенье ушла. Этот день запомнился: к ночи полил дождь.

Вечером накануне Дня Победы 60-го года пришли с торжественного собрания из клуба. Неожиданно к скамье перед окнами Митрошихиной избы завернул Кирюшечка. С газетой под мышкой. Подсел к Марише. Стало тихо.

— Никанорыч! — обратился председатель. — Как сынов-то кличут?

— Артем да Вавила.

— А не запямятовал?

Вспыхнула Мариша.

— Артем да Вавила!

— Ну, хорошо, хорошо. — Кирюшечка дал ей газету. — Взгляни, не твои ли сыны?

Митрошиха взглянула, охнула тихонько... С фото-снимка в углу газетной полосы улыбались два широколицых парня в танкистских шлемах — Василий и Дмитрий.

— В архиве выпросил, — пояснил Кирюшечка.

Ждали...

Мариша встревоженно поглядела по сторонам. Дрогнули губы.

— Сыны, — прошептала старуха. Вскочила и пошатнулась. Ее подхватили под руки. — Сынки-и! — вскрикнула тоненько...

Газета пошла по рукам. Мариша ее выхватила, прижала к груди. Припала к ней бескровными губами, выдавила из себя нутряной стон:

— Васи-и-ильюшка... Дими-и-итрушка!

— Слышали, бабоньки, Мариша-то плоха...

— Неуж безнадежная?

— А какая там надежда! Высохла, что прутик.

— Так ведь, говорят, уехали за ней. Не нонче-завтра привезут. Пионеры, слышь, ухаживать берутся.

— Я что думаю, бабоньки, — печь бы истопить.

— Верно. Встретить бы Маришу!

Ездили за Маришей председатель колхоза Бураков и Митрошиха. Перед смертью Мариша велела схоронить ее во всем старушечьем. И еще что-то сказать хотела, да не смогла. Видимо, разум вернулся к ней уже мертвой.

Над могилкой председатель хотел произнести речь, но беззвучный кашель затряс его плечи. Он сжал здоровой рукой изувеченную войной кисть левой и застонал от боли.

Все перевернут

1

Начальнику Осихинского районного архива.

Здравствуйте, дорогой товарищ начальник. С горячим приветом и массой наилучших пожеланий к Вам и Вашему семейству бывшая труженица колхоза им. Сталина, а ныне пенсионерка д. Новопетрухино Прииртышского совхоза Шипицына Мария Савельевна. Во первых строках моего письма, простите старуху темную, что не знаю Вашей фамилии, а также, как звать-величать. У кого из своих деревенских ни спрашивала, никто не подсказал. Не обессудьте: деревня наша махонькая, молодых раз-два — и обчелся, а с нас, гнилушек старых, какой спрос — мы и свои фамилии потихоньку забываем, потому как живем по старинке, друг дружку больше по кликухам знаем.



Вам, человеку со стороны, наверно, покажется дико, а нам ничего — привыкши, будто так и надо.

Уж я совсем было отчаялась, не ведая Вашей фамилии, да, спасибо, квартирант Костя Шильников надушил написать прямо на архив. Вы, товарищ начальник, моего квартиранта, должно быть, знаете. Его всякий в Осихине знает. Шоферил в сельхозтехнике, три осени кряду к нам на уборочную приезжал да и остался. Ради фельдшерицы Кати Полозовой. Катерина — девка видная, с дипломом. Но привередница, каких свет не видывал. Попервости глазки строила-строила, хвостом вертела-вертела, а как достроилась, довертелась, стронула парня с места, так назад пятки. Говорит, что больно Костя пресный, равнодушный. А чего зря хаять? На работе не нахвалятся, не бражничают. Парень, каких мало!

Катерина раньше-то частенько забегала. Попробует, давление измерит, укол, когда надо, поставит. А как с Костей разругалась, стороной обходит. Прокопается вот в ухажерах-то, будет ногти крашенные грызть. Дюже парня жалко. То, бывало, вечерами дома не увидишь, а теперь на диване лежкой лежит, книжки толстые читает. Целую гору начитал, сильно на них разозлился, кабы худо с головой не сделалось... Я вот множко ль покарябала, а зашумело в голове, круги пошли перед глазами. Опять давление скакнуло...

Однако сильные таблетки Катерина прописала. Одну намедни проглотила, и смануло меня в сон.

А еще простите, что пишу, как курица лапой. Глазыньки мои от горькой жизни совсем никудышными сделались — строчки на бумаге расплываются. Да и гра-

мотешки чуть-чуточек. Ни единого денечка в школу не ходила, век на свете туркой прожила. В школу время подошло, я, дуреха, в слезы: милые маменька с тятенькой, буду по хозяйству помогать, сестренки буду нянчить, что хотите, делать стану, только не учиться. Пуще смертушки школы боялась. От горшка два вершка была, когда мама-покойница — царство ей небесное — показала, где ее брательника, дядю, значит, моего, колчаки насмерть застрелили. Сперва плетками в деревне исхлестали, а потом озлились и в кустах за школой застрелили. Я мимо ходить и забоялась. Кого еще понимала-то? Тяте по уму-то взять бы в руки дрын хороший да тем дрыном гнать меня, соплюху, до порога школы. Но родители иначе рассудили: не реви, глупышка, знать, не суждено всем учеными-то быть, кому-то и хозяйство надобно вести. И то: нас у мамы с тятьей пятеро росло да, как на тятину беду, все девки, я третья по порядочку. Хозяйство большое держали. А как прожить иначе? Такую, как у нас, ораву, прокормить, обути, одеть надо было исхитриться. Уж за то маме с тятьей спасибо и низкий поклон, что по миру нас не пустили. Если Вы, товарищ начальник, человек пожилой и крестьянского сословия, то мне ли Вам расписывать, какая наша учеба была. И каково мне в жизни пришлось неученой...

Я свою грамотешку всю жизнь потихоньку осваивала. В покос перед войной меня к поварихе приставили. Колхоз поначалу хиленький был, откуда сразу богачеству взяться? Кормежку варили покосникам жидкую, а мужики петрухинские — лбы, как на подбор, да на вольном воздухе промнутя, им только подавай, быка зараз умолотили бы. Из дому кто яичек, сальца, кто молока прихватывали. А больше кто, ко-

нечно, картошки родимой, она завсегда у нас удавалась — в худые годы яму насыпали. Повариха поспать здорова была. Вот и раззевается: ты, Марейка, с картошкой управься, а я малость подремлю, ночью, скажет, не поспалось. Ляжет и задаст храповицкого, а я за картошку, чтоб к обеду успеть. Сижу себе да чищу. И вот однажды призадумалась, не заметила, как на картошинах букочки вырезала — «А» и «М». Аня, значит, и Маруня. Были в нашей бригаде Аня Веселова и Маруня Лизунова. У Аннушки картошка крупная да здоровая, что твои поросята, а у Маруни — мелкая, в ростках, и всегда издряблая...

Вырезала и оторопела. Стукнуло мне в голову, как слова из буквочки складываются. К Марунечкиной — Аннушки ну будет тебе «МА», а повторить — и «МАМА». Вскочила да и в пляс. Руки зазудились, давай «ТЯТЯ» вырезать. Заигралась, не увидела, как покосники приехали. Картошка не отварена, я в букварь играю. Повариху растолкали, та расчухалась и — в крик. Я, понятно, в слезы. Мужики, спасибо, заступились: не плачь, Марейка, вари азбуку! Смех и грех. Вот, товарищ начальник, какая была моя грамота, злему татарину не пожелаю. Внучке рассказала, как азбуку осилила, так призадумалась девочка: «Трудная азбука, бабушка!» Как не трудная? Еще какая трудная!

Товарищ начальник архива, простите, что письмо нескладное и долгое выходит. Третий вечер у оконушка за столом слепую, а конца не видно писанине. Я все одна и одна, квартирант не в счет. Парень всем хорош, да молчун невиданный. Год, как квартирует, а не разговорится. А мне, старой, так-то одиноко станет иной раз!.. Много ль надо старушонке? О своем поплачусь —

на душе легчает. Вот и карябаю, будто с живым человеком балакаю. Всю свою жизнь описала б, да боюсь, на то бумаги и сил моих не хватит. Рученьки устали, глаза, как у Яхи Растопчина с похмелья, слезятся. Покуда из строя не вышла, спешу закругляться...

Я чего пишу-то? Где-то сразу после войны многие наши колхозники были награждены трудовыми медалями. Среди награжденных за доблестный труд была и я — Петрухина по девичьей фамилии. Лучшие лета на войну пришлось, а как она, Победа наша, в тылу ковалась-доставалась, про то, поди, не хуже знаете. Медаль вручал Иван Батулин из райцентра. Фронтвик, мужчина обходительный. Мало в жизни таких-то встречала. Каждого за труд благодарил, об ручку с каждым попрощался. Всем колхозом провожали...

Не сохранила я медаль. Почему не сохранила — долгая история. Не сочтите за труд, поднимите архив, подтвердите награду. Пока мало-мальски шаперюсь, хочу в хозяйстве прибраться, в богатстве своем порядок навести. Перемерем, кто за нас похлопочет?

Еще раз простите, что отрываю от дела бестолковой своей писаниной. Жду ответа, как соловей лета.

Ко всему, пенсионерка Шипицына.

2

Начальнику районного архива.

Лети с приветом, вернись с ответом!

Здравствуйте, товарищ начальник. С чистосердечным приветом опять я, старушонка настырная. Во первых строках моего письма, простите, что пишу, не дождавшись Вашего ответа. Душа моя не терпит. Я к осени совсем никудышной становлюсь, еле ноги волочу, вся снутри

больная. Вскоре после письма слегла в совхозную больницу — думала, не оклемаюсь. Верунька забегала, дочка с зятем навещали, даже Костя-квартирант заехал попроведовать. Вот тебе и пресный! Вот и равнодушный! Видно — с добрым сердцем, да Катерина извела...

Вот Костя мне и говорит: зря, Савельевна, хлопочешь, от медальки проку мало. Другое дело — Яхе. Ра-стопчин как поддаст, медаль «За отвагу» на грудь и полный вперед к магазину, и все перед ним расступись — льгота позволяет. Квартиранту что забавно? Что век свой бабка без медальки прожила, а тут вдруг кашу заварила. Вроде бы и верно, к чему вся эта канитель? Только я ведь внученьке медальку посулила. Верунька — девочка сурьезная, в пятый класс учиться ходит. С нею не соскучишься. Звенит и звенит, что тебе колокольчик. Летом гостевала у меня. Сидим у телевизора старая да малая. И показали похороны. Хоронили человека не простого — важного: то ль министра какого, то ли генерала, а то бери и выше. Музыка тоскливая играла, народу шло за гробом видимо-невидимо, во всей деревне нашей столь уже не наберется. И люди все солидные, не с нами в ряд поставить. А впереди военные несли черную подушку, всю в орденах-медалях. Сказали, что покойник с 21-го году рождения. И жалко мне стало его, как своего, деревенского. Ведь Степан мой — царство ему небесное — тоже с 21-го. Обоим еще бы пожить, да, видно, так на роду этому году написано...

Я на чем вчера остановилась-то? Да, вот и жалко мне стало человека. Видно, много он добра поделал людям, если столько народу проститься пришло, к плохому не придут. А внучке любопытно: зачем дяденьки военные медали-ордена несут? А затем, отвечаю, чтобы

все увидели, какой человеку почет и уважение. Трудную жизнь дедушка правильно прожил. А ты, бабуля, правильно жила? — внучка-то моя! Если правильно, где твои медали? Вот ведь задала вопрос! Ребенок, что хотите. Столько, сколько дедушка, я не заслужила, отвечаю внучке, но одну, мол, заработала. «За доблестный труд» называется. Верунька и пристала: покажи да покажи. А показать и нечего... Знаете, наверное, каково дояркой быть. С темна до темна на ферме, а детишки беспризорные. Дочери послушными росли — девчонки есть девчонки, а младший — Толик — бедокурил. Дома остался один, из голика-веника костер на полу сложил, соломой сверху притрусил, а на солому — хрюшку казеиновую. Видел, как сосед Сахнов Тимоха хряка осенью смолил. Хрюшка полыхнула, огонь на занавеску. Толик мой переполохался и — деру. Тимоха с Растопчиным Яхой дым из окошка увидели — стены лишь и отстояли, все, что было, погорело.

Товарищ начальник архива! Пособите мне, неугомной, до конца своих дней благодарная буду. Остаюсь жива-здоровая, чего Вам и Вашему семейству от души желаю!

Ко всему, пенсионерка Шипицына.

Новопетрухино Осихинского района.

Шипицыной М. С.

Настоящим сообщаем, что в Осихинском районном архиве документы за 1937 — 1956 гг. не сохранились.

Ваш вопрос послан в Среднесибирский областной архив.

Зав. райархивом

Чередова.

Начальнику Среднесибирского областного архива.
Горячий привет из Новопетрухино!

Здравствуйте, дорогой товарищ начальник! Во первых строках моего письма, Вы, наверно, догадались, с какой великой просьбой обращаюсь. Пождала-пождала я Вашего ответа на запрос районного архива и не утерпела, за что прошу великодушного прощения. Уж больно хочется скорей чего-нибудь дождаться. Ведь я чего переживаю-то и Вам покоя не даю? Вот хоть убей, не понимаю, где же наши документы и как так — не сохранились? Куда ж они девались? Ладно, если к Вам на сохранение сданы, а если не сданы? Много разных думок передумала. Это раньше думать было некогда... И вот что мне надумалось: помрем, так ведь без документов все, что пережили, переврут да перепутают. Никто не разберет, где правда, а где ложь. Жалко, если эти годы без следочка канут, как мой колхозный стаж. А мой колхозный стаж пошел коту под хвост. До сих пор не понимаю, пошто наш труд за труд не посчитался? Можно ли из памяти вычеркнуть такое? Какое сердце надобно иметь, чтоб вычеркнуть не дрогнула рука?

Квартиранту вот пожалилась, а ему смешно. Какая разница, сказал, если общий вдвое перекрыла? Верно, перекрыла. На две пенсии стажу наработала, денечка просто так не посидела, и еще бы робыла, каб не обезручила. Но обидно, что наш труд ничего не стоил... Что внученька о бабушке узнает? Древнюю историю проходит, а к нашей и не подступилась. Я об этом тоже думаю: с того ли краю дети за историю взялись? С мартышек, от которых, прости Господи, род людской пошел. Все это, может, по науке, но все равно не

так. С другого краю бы приняться, пока старичье еще живо. Время-то уходит! В деревне стариков заметно поубавилось. Из фронтовиков, однако, двое и осталось: Сахнов Тимоха да Растопчин Яха.

Простите, товарищ начальник архива, что строчки заплетаются. Хоть чуточек поволнуюсь, глазыньки не видят, очки не помогают. Голова опять же разболелась. Однако Костю-квартиранта пошлю за Катериной...

На этом закругляюсь, жду скорого ответа.

Ко всему, пенсионерка Шипицына.

*Новопетрухино Осихинского района.
Шипицыной М. С.*

В акте вручения медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Осихинским райисполкомом колхозникам колхоза им. Сталина значится Петрушина Мария Савельевна.

Петрухина (Шипицына) в акте не значится.

Списки колхозников, представленных к награждению, в архив не поступали.

Директор архива Огородников.

4

Директору Среднесибирского архива.

Дорогой товарищ Огородников!

С пламенным приветом к Вам и Вашему семейству пенсионерка Шипицына. Во первых строках моего письма, Ваш ответ получила, за что сердечное спасибо, не знаю, чем благодарить. Остались люди добрые, не все перевелись! Недаром, значит, хлопотала, ноченьки высиживала. Если б знали Вы, товарищ Огородников, какую радость мне великую доставили!

Ответ угодил в аккурат на квартирантову свадьбу. Народу много съехалось. К Катерине городские, с женой стороны почти пол-Осихина. А главное — Костина мама приехала. Как увиделись мы с нею, так и бросились друг к дружке, обнялись, наплакались. Всю войну в одной бригаде проишачили, замуж вышли — растерялись. Лена Шильниковой стала, я — Шипицыной... Верочке ответом Вашим похвалилась, то-то радости было звоночку — в каждом письме о медальке справлялась.

А то, что в акте значится Петрушина — ошибочка, товарищ Огородников. Колхозница Петрушина — это я, Петрухина. У нас в деревне все Петрухины, Петрушинных не помним. А чтобы Вы поверили, шлю Вам фотокарточку. Растопчин Яха подарил для доказательства. В день вручения медали нас всех сфотографировали. Чтоб Вы сразу меня разглядели, себя обозначила крестиком на кофточке. Не смотрите, что на карточке я сжалась, как воробушка, — с непривычки оробела.

Исправьте там ошибочку, товарищ Огородников. Низкий Вам поклон за хлопоты!

Ко всему, пенсионерка Шипицына.

Новопетрухино Осихинского района.

Шипицыной М. С.

ВТОРИЧНО.

В акте вручения медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Осихинским райисполкомом колхозникам колхоза им. Сталина значится Петрушина Мария Савельевна.

Петрухина (Шипицына) в акте не значится.

Директор архива Огородников.

Начальнику Ленинского РОВД
Среднесибирска.

Товарищ начальник!

На днях в Среднесибирске за нецензурный скандал в областном архиве дежурным нарядом милиции задержан житель нашей деревни водитель Шильников К. Г. Так как он человек молодой и несдержанный, то в сердцах слегка переборщил при разговоре с товарищем директором. Не одобряя действий Шильникова, просим Вас учесть, что на работе и в деревне его знают как облупленного, порядочного парня. Просим сделать снисхождение и освободить его из-под стражи. Надеемся дождаться Шильникова к 5-ому числу на девять дней Шипицыной М. С...

Ко всему, Веселова, Лизунова, Сахнов, Растопчин, Петрухина, Шильникова...

Ниже — подписи неразборчивы.

Чужая музыка



Жуткую весть привез Витька Скобелкин... Был день как день. Суббота. С утра Таисья управилась по хозяйству, в доме вымыла полы, в баню воды натаскала. С часок поокучивала на огороде картошку и, томясь неопределенностью, вышла за калитку. Оказалось, вовремя. По дороге только что пропылил городской автобус и остановился в аккурат против дома Скобелкиных.

«Однако прибыл на побывку мой дед!» — Таисья обрадовалась и встревожилась разом. Подумала, отпустили Ивана из больницы на субботу-воскресенье в баньке помыться-попариться. Но знала и другое: если сегодня отпустили, значит, на той неделе не выпишут, неизвестно, сколько пролежит. Худо, стало быть, дело.

Вот уже месяц лежал Иван в областной больнице, язву же-

лудка признали. Деда пичкали таблетками, поили микстурами, запретили то и это, но главное — курево. Без курева он заскучал, сделался капризным, несговорчивым. А улучшения не наступало.

Таисья из-под руки всмотрелась в приезжих.

Первой из автобуса вышла Марфута Вдоль-и-Поперек, сродного Иванова брата, Тимохи Киселева, жена. Круглая, с красным отечным лицом, в кофте на булавках вместо пуговиц. Одышливо мимо прошагала, не поздоровалась.

«На свидание ездила к Тимохе», — догадалась Таисья.

Тимоху осудили осенью. В уборочную ночь загнал комбайн во двор сельповского шофера Пашки Кудленка и за полтора обещанных червонца ссыпал в короб бункер пшеницы. Кто-то, видимо, донес. Кудленок, мужик изворотливый, вышел сухим из воды, а Тимоха пострадал. Иван до суда с глазу на глаз с ним встречался. О чем говорили — неведомо, только Марфута с тех пор дулась...

За Марфутой Вдоль-и-Поперек Витька Скобелкин показался, через дорогу к дому поковылял. В одной руке — картонная коробка, другую — свободную — над головой вскинул, пальцы в кулак.

— Здра жла, тетя Тас!

— Ба-а, сосед! Здоровкались уже!

— Так то — утречком! — Витька подошел. Вид праздничный: свежая стрижка, пестрая рубашка, наглаженные брюки. В улыбке расплылся. — Не меня ли поджидаешь?

Автобус лязгнул дверцей, дальше попылил.

«Нет моего Ивана, — вздохнула Таисья. — В понедельник буду ждать».

— А то кого же, — ответила Витьке. — Стою вот, гадаю, куда мой соседушка с утра запропастился. А он — вот он, с городу явился. Да блестит, как стеколушко. Нешто в лотерею выиграл?

— В лотерею невезучий, но в музтоварах кой-чего отхватил. — Витька потрянул над головой коробкой.

Таисья разглядела на крышке изображение.

— Радио, однако?

— Сама ты радио! Не видишь — маг. Иностраня. Вон, не по-русски написано...

— Тогда коне-ечно, если не по-русски! Не баран чихнул. И сколько она стоит, эта иностраня? Рублей сто, не меньше?

Витька пренебрежительно сплюнул в сторону.

— За сто рублей купишь, ага. Патефон с ручкой. Я на эту музыку весь капиталец бухнул.

— И не жалко?

— Капиталец-то? Не-а. На то и трудимся, тетя Тас, чтоб чего-нибудь куплять.

— Братовья увидят — выцыганют, — предсказала Таисья. — Они хитрые у тебя, братовья-то. Свои денежки в кубышку, а на твои косятся. Не давай, ну их!

— Жирно будет! — Витька любовно огладил коробку. — Пойду опробую капиталиста, дам заразе испытание. Приходи, тетя Тас, как управишься. Брейк-танец будем репетировать.

— Приду, — обещала Таисья. — Вот только туфли на шпильках надену, чтоб звончей стучать. Заводи свою иностраню.

Витька хмыкнул, к калитке пошел. Обернулся.

— Тетя Тас, чего Натаха-то давече приезжала?

— Соскучилась, вот и приезжала.

— Просто так? И ниче не сказала? Интересно, тесто пресно, — Витька плечами пожал недоуменно.

Таисья ухо наострила.

— Ну, ну, договаривай!

— Да Марфута Вдоль-и-Поперек разное болтает. Будто в магазине у Натахи ревизия.

— Ну и что, что ревизия?

— Да будто у них там растрата. Или — излишки. Милиция будто шерстит.

Таисья от Витьки рукой заслонила.

— Чего ты собираешь-то?

— Не пужайся, тетя Тас, — Витька засмеялся. — Или ты Марфутушка не знаешь? Ей соврать, что в лужу дунуть. Как дядю Тимоху посадили, всех бы за решетку упрятала, в каждом вора видит. Ну е!

— А я не испугалась, с чего ты взял? — поспешно ответила Таисья. — Я за дочь спокойна. Марфуте верить как? Всю деревню грязью облила. До нас очередь дошла.

— Ну, значит, я пошел! — За Витькой щелкнула калитка.

Таисья, ошарашенная вестью, побрела на огород. Вновь за тятку взялась. Вскоре от Скобелкиных скрежетом и воплями ударила Витькина иностраня. Таисья присела на краешек навозного вала, разделявшего соседские огороды...

Звучала музыка чужая, непонятная.

Таисья любила старую Витькину музыку. В сенцах под окном у Скобелкиных с давних пор стоял громоздкий приемник с проигрывателем. Витька часто и по долгу гонял на нем одни и те же пластинки, Таисья

знала их наперечет. Ей особенно нравилась «Ах, Наташа». «А-ах, Наташа, что-о мне делать?» — вопрошала певица, и душу бередила песня. «Старый сад» тоже любила. «На свете ничего не повернуть назад...» Золотые слова. Много добрых песен имелось у Скобелкиных. И Таисья любила их больше за то, что все они были песнями дочериной молодости. И Витькиной тоже. Обоим уже по тридцать...

Теперь у Натальи своя семья, другая жизнь, иные песни. А у Витьки все прежнее. Уж как за Наташкой ухлестывал — в зятя прочили. Не судьба. В одно лето взялась молодежь на мотоциклах гонять. Как с ума посходили. Шум, треск. Предупреждали: быть беде. Куда-а там! Догоняли. Выходить выходили Витьку, но на обе ноги охромел — коленные чашечки побил. Все мимо прошло — армия, женитьба. На подхвате у шабашников подвизался — наряды им писал. За то держали, что дед Скобелкин пустил их на постой в старую избу. И будто из семнадцати годов никак не выйдет. Те же пластинки и Наталья на уме. А Наталья, дуреха, потешается, ей в забаву...

Ох, Наташка, Наташка! Спроста ли, в самом деле, приезжала?

Дочь в последнее время приезжала редко.

«Конечно, — в сердцах укоряла Таисья, — вы теперь опушились, в стариках не нуждаетесь!»

Дочь отвечала: «Купим скоро «Москвича» — глаза намозолим, не обрадуетесь!»

«Москвича» купили — с гаражом проблема. «Вот гараж построим!..» И гараж построили. Тут зятю квартиру дали. Двухкомнатную, в центре города. А квар-

тиру до ума довести — на полгода работы. Опять причина. Потом о дачке заговорили...

А в среду прикатила. Нежданно-негаданно. Одна. Таисья как раз окучивать начала. Спину разогнула — глазам не поверила: Наташка! Бежит огородом. Тяпка выпала из рук — не с Иваном ли беда?

«Соскучилась, мама. Слов нет, как соскучилась!» — Наталья в щеки мать нацеловала, в дом потянула, сели пить чай. «Три дня в счет отпуска взяла», — общила за столом.

Тараторила без умолку и, как в детстве, ластилась, а глаза — печальные. Таисья недоброе заподозрила: «Ты не от Стаса ли сбежала? — спросила осторожно. — Не поругались с ним?»

«Да ты чего себе вообразила? — вскинулась Наталья. — Стас мой — золото мужик. Непьющий, некурящий... Все до копейки в дом несет. С чего бы нам ругаться? Ангелок мой Стасик!»

«Что правда, то правда, — согласилась Таисья. — Ты нос перед ним высоко не задирай, попусту не фыркай».

Посидели, поговорили — вновь на огород. Наталья до купальника разделась. Взяла в руки тяпку — ловко получалось, не отвыкла. Витька на обед прошел. Наталью увидел — работе конец. Музыку завел. До поздней ночи «Ах, Наташу» гонял. Ночи тихие — далеко слышно. Наталья слушала-слушала — вздохнула: завидую Витьке... Вот бы мне хоть на денечек в прошлое вернуться. Устала я, мама. Знала б, как устала!»

«Еще бы, — посочувствовала мать. — Три часа в такую духотищу в автобусе томилась. И я, рогожа старая, на огород с дороги загнала!»

Наталья рассмеялась. Странно как-то рассмеялась...

Не утерпела Таисья. Тяпку бросила, в дом зашла. Передник на себе сменила и — к Марфуте Вдоль-и-Поперек. Разбираться. Решительно настроилась...

На ходу распахнула калитку. В углу двора высилась горка березовых чурок. У крыльца, острой мордочкой тычась в ступеньку, истошно визжал поросенок. Двери сеничные настезь. В избе топилась печь. Стойким духом распаренной картошки шибануло в нос. В чугуне, обдаваемом накипью, пыхтело поросячье месиво. Запустением пахло из углов... У печи, сложив руки на колени, недвижно сидела хозяйка. Медленно повернулась на шаги, большие тусклые глаза сузились в ядовитом прищуре.

— Пожа-а-аловала, значит? Не побрезговала к вора-ам-то?

От вызова Таисья уклонилась. Улетучилась воинственность. Жалость к Марфуте сковала. Была Марфута Вдоль-и-Поперек — стала мяч приспущенный. Лицо — отечное, серое, в складках, веки — красные, припухшие, под глазами — сине. Несладко, видно, без Тимохи.

— Потчевать не стану и присесть не предложу!

— Не язык чесать пришла. — Таисья приступила к делу. — Кто тебе про Наташку наплел? Иль сама со зла придумала?

— С чего бы я придумала? Ни полслова не прибавила. За что купила, за то и продала.

— У кого купила?

— У людей. Есть, которые все знают. И ты, конечно, знаешь. Не ломай комедию.

— Да про что я знаю-то?

Марфута нервно рассмеялась. Черная, с горошину, родинка на щеке вверх-вниз забегала.

— За деньгами дочка приезжала. Чтоб растрату покрыть, от суда откупиться. Все-е ты знаешь, не юли!

Таисья побледнела, по лицу ладонью провела.

— Говори, да отвечай за свои слова!

— А-а, не ндра-а-авится? Не ндравится в ворах ходить? Мы, значит, воры, а вы честенькие, да?

— На чужую копейку не зарились!

— Зато дочь не побрезговала!

— Ты мою дочь не марай!

— Зна-аем, на какие доходы дочка твоя распушилась. На трудовую копейку этак не размахнешься. Проворовалась!

Кровь в виски бросилась Таисье, в глазах, как от удара, потемнело.

— Вре-ешь, бесстыжие шары!

— Не ндра-а-авится, ага?!

— На один аршин всех не меряй! — Таисья задыхалась. — Мои живут честно. У Наташки мужик-работяга, и сама без дела не сидит!

Марфута тоже распалилась — щеки пятнами пошли.

— У Натахи оклад девяносто. И Стас не тыщи получает!

— Сколько ж в тебе злобы! — враз обессилела Таисья. — За Тимоху мстишь? Кому? Мне или Наталье? Или — Ивану? Разве он Тимоху посадил? Жадность Тимоху в тюрьму загнала!

— А вы не стройте честных из себя! — талдычила Марфута. — Вам тащить неоткуда, потому и не тащи-

те. Все воруют. Кто где может, там и тащит. Один больше, другой меньше. Все! Ишь, че-естенькие мне!

— Врешь ты все, Марфута! — Таисья пошатнулась, спиной к косяку прислонилась.

— Слушай, раз пришла. Слушай правду-матку! — брызжа слюной, ликовала Марфута. — Все заворовались! Поголовно! Все! На Тимоху, бедного, молитесь, он за всех страдает. И пусть Иван твой дочерю стыдит, а не моего Тимоху!

С прежней силой у Скобелкиных гремел магнитофон. Витькины братья с женами, как всегда по субботам, сходились к родителям. Пора было доить корову, управляться по хозяйству, но Таисья не спешила, рукам не искала заделья. И в дом бы не входила... Там, куда ни глянь, везде Натальины следы. Заколки для волос на подоконнике, духи на холодильнике, раскрытая на выкройках «Крестьянка».

— Ох, Наташка, Наташка! Трое суток дома побыла, а сколь тоски наделала. Лучше б ты совсем не приезжала!

Не верилось в Марфутины сплетни, но душу сомнение точило.

«А вдруг?.. А что, если... Зачем-то ведь являлась?»

Ни сном ни духом не ведала Таисья, какую думу неотвязную принесет суббота...

Три года назад Наталья приезжала с мужем на Первомайские праздники. «Машину, мама, будем покупать!» Таисья сразу-то мимо ушей пропустила, а ночью раздумалась: на какие шиши покупать? Машину! Всю жизнь с Иваном спины не разгибали, просвету в работе не видывали, раньше срока состарились, а все-

го-то и скопили, что на дом. И копейкой не гнушались. Поросят на продажу откармливали, картошку выращивали. Мясо, масло, молоко, овощ всякий — все свое, не куплено. Горбом доставалось. У Ивана, может, оттого и желудок нарушен, что всю жизнь всухомятку. То он в поле, то в лесу, то на покосе... Кто там горячего спроворит? А дочка с зятем раз и — в дамки. Машину покупать!

Наутро Стас с Иваном в лес уехали. Делянку под дрова отвели в тот год аж в десяти верстах. Иван с корня навалил загодя, оставалась раскряжевка, и чтоб туда-сюда впустую не мотаться, мужики отправились с ночевой. Случай у Таисьи подвернулся — остались с дочерью вдвоем. «Вам не свекр со свекровью на машину отвалили?» — спросила как бы походя. «Еще чего, — с гонором ответила дочь. — Сами с усами!» — «Большие ведь деньги!» — «Деньги, мама, не проблема. Проблема — где достать!» Таисья походила-походила — снова как бы ненароком: «В Бобровке, слышно, продавщица сбедокурила. Яблоки по рубель шестьдесят продала за рубль семьдесят, а разницу в карман. Стыдобушка и срам. Трое ребятишек и мужик — директор в школе». Наталья глаза округлила, ойкнула тихонько. «Ты чего это, мама, держишь себе на уме? Неужели думаешь, что я...» — «Ничего такого я не думаю, — устыдившись, перебила мать. — Уж и сказать-то ничего нельзя!» У Натальи слезы проступили на глазах от смеха. «Ты чего себе вообразила? Оклад, конечно, невелик, но ведь плюс и прогрессивка. Стасу двести рэ установили, премия приличная. Первый мастер в городе по телекам. Не за спасибо крутится, понятно. Хочешь жить — умей вертеться. Деньги сами

не придут, деньги делать надо. Такая, мама, жизнь настала».

И хоть слово «делать» немножко покоробило, Таисья успокоилась. «Сделать» — не украсть. Другая жизнь — иные песни... Разве все понять?

Поздно вечером зашел Петро Козырев — бригадир шабашников. В запыленных кирзачах, в пропахшей деревом спецовке. Лишь Тимоха Киселев выше Козырева ростом. Борода у бригадира не то, что у Стаса — три хилые волосинки, а густая, с проседью, в опилках. Такую видела Таисья на картинке в книге, что на этажерке. Каждый вечер для Петра Таисья оставляла литр молока. Он заходил после работы — дом из бруса ставили совхозу, залпом осушал банку, утирал усы ладонью. Таисья улыбалась одобрительно. «Так я же вырос на молоке!» — пояснял Петро.

И сегодня он привычно прошел к холодильнику, взял в свои медвежьи лапы банку, влил полнормы внутрь усов и бороды.

— Это, — сказал, отдышавшись, — завтра стюкаю ворота. Как и обещал.

Таисья, любуясь Петром, машинально кивнула.

Ворота — тоже дочери придумка. «Ты с Петра копейки не бери», — перед отъездом наказала. «Почему? — удивилась Таисья. — Молоко — не вода, оно денег стоит». — «Не бери, я с Петром договорилась, он ворота сметит. На всей середке лишь у вас ворота развалились, грибок уже взялись». — «Давно с отцом об этом говорим, — подхватила Таисья, — то тесу нет, то самого не дождусь из больницы». — «Будут вам ворота!» — обещала дочь...

Петро допил молоко, вручил банку Таисье.

— Добре, тетка!

Таисья прикрыла за ним дверь, разобрала постель, потушила свет. И, вопреки опасениям, сразу заснула.

Свет за окном легко проткнул июньский сумрак, белый отсвет метнулся по горнице, скользнул по лицу. Таисья приоткрыла глаза, раздвинула занавеску, прильнула к стеклу. С дороги к забору медленно двигался грузовик.

«Кого серед ночи несет?» — Села на постели, со спинки стула сдернула халат, набросила на плечи. Кряхтя и морщась от боли в суставах, поднялась.

Грузовик, чихнув у забора, заглох. Не зажигая света, Таисья вышла на улицу. Взбренчав сырой цепью, запоздало взлаял Витькин кобель Кум. С крыльца Таисья разглядела мужиков в кузове. В одном по росту угадала Петра, в другом — вертлявом коротышке — Кудленка Пашку.

Задний борт кузова с грохотом отпал.

— Вы чего? — окликнула Таисья. — Чего вы тут позабыли?

На машине замерли.

— Напугала! — сплюнул Петро Козырев. — Матерьялу вот привез... На ворота.

Через забор полетел брусок, другой, третий... Россыпью ахнули на землю тесины.

И до Таисьи вдруг дошло: краденые брусья. И лес тоже краденый. Потому и ночью привезенные...

— Стойте, — вскрикнула она. — Не сгружайте. Кто велел?

Кудленок подмигнул.

— Не трусись, хозяйка. Под навес перетаскай, и все дела. Кто там разберет, откуда доски?

— Ты это, тетка, не дури, — посуровел Петро. — Ишь мне больше делать нечего, как с досками таскаться?

— Мне ворованно не нужно!

— Во дает! — восхитился Кудленок.

— Да идите вы! — махнул рукой Петро. — Что, у меня своя лесопилка? Дочь твоя о том не знала?

Осеклась Таисья. Знала. И Наташка, и она, рогожа старая, знала. Но не подумала, чем обернется. В мыслях не держала.

— Давай гони в гараж! — приказал Петро Кудленку. — Неровен час, попухнешь с этим тесом!

Кудленок прытко вскочил в кабину, Петро сплюнул под ноги и молча ушел.

Таисья по брусочку, по тесинке стаскала привезенное под навес. Что оставалось делать?

Теперь заснуть оказалось непросто. Таисья долго лежала с открытыми глазами, поминутно взглядывала в окно. То ей чудилось шарканье шагов, то, казалось, тень скользнула через дорогу. Задремывала и видела Тимоху Киселева, растрепанную Марфуту, повисшую на мужнином плече, дочь с упреком в смеющихся глазах... «Ты чего это держишь себе на уме?» — вопрошала Наталья. «Все молитесь на Тимоху, он за всех страдает!» — ликовала Марфута.

Вновь пробуждалась Таисья, таращилась на потолок. Мысли о дочери одолевали. «Ох, Наташка, Наташка! Наворочала, девка, делов! Хорошо, что Иван не приехал сегодня...»

Вспомнился вечер после суда над Тимохой. «Не больно ли с ним круто?» — с надеждой на сочувствие спросила у Ивана. «Что, пожалела? — взвился Иван. — В войну

лебеду жрали! Почему тогда не воровал? Тогда б и я, может, пожалел. А сейчас — не жалко. По заслугам!» — «Охо-хо! — вздохнула Таисья. — Нешто, правда, жизнь другая?»

Ах, эта Витькина новость! Тес этот, будь он неладен!

Была непонятная связь между краденым тесом и Витькиной вестью.

Таисью знобило. Она с головой накрылась одеялом, боком вжалась в перину, но дрожь не унималась. Сбросила с ног одеяло, взад-вперед по горнице прошлась. Сняла с гвоздя Иванову фуфайку...

На востоке коромыслом высветлялся краешек неба. Фиолетовый сумрак ночи переходил в предрассветную синь. Тихо было. Таисья подошла к штабелю, постояла в раздумье. У Скобелкиных скрипнула сеничная дверь. Таисья вздрогнула, метнулась в сторону, под навес. Жаром опалило лицо, во рту осушило.

Витька в трусах и майке вышел на крыльцо. Зашел за угол. Звонко шлепнула резинка трусов...

— Прости меня, грешную, Господи! — перекрестилась Таисья. Запахнула на себе фуфайку, сдернула со штабеля тесину, взяла конец под мышку. Прямоком по улице до стройки — метров сто, не больше, а в обход — все двести. Огородом, задворками, проулком... Двести метров позора.

Рассвет встретила на ногах. Начался новый день. День как день. Воскресенье. Таисья подоила корову, процедила молоко. Отдохнуть на крылечко присела. У Скобелкиных музыка заиграла. «А-ах, Наташа, ах, подружка!» — полилась старая песня. Хорошая песня. Таисья встрепенулась, вслушалась. «Вот и выцыганили братья иностранию, — догадалась. — Остался Витька на бобах!».

Коршун

В седьмом классе меня назначили редактором школьной стенгазеты. Поскольку на мои худенькие плечи свалился груз нешуточной ответственности, а редколлегия оказалась народом сплошь беззаботным, мне пришлось изрядно потрудиться. Я трафаретил заголовки, рисовал карикатуры, писал за авторский актив различные заметки и даже, войдя в раж, однажды замахнулся на стихи. Помню, про юннатов. Стишки были замечены, учительница литературы послала их в районную газету, а там и напечатали за подписью «юнкор» под рубрикой «Нам пишут». Меня зауважали, и это мне польстило. Я стал писать в газету чаще.

— Ты, парень, слышь, чирикаешь в газетку? — остановил меня однажды вредный стари-



кашка с влажными мышинными глазами по прозванию Коршун. Маленький, небритый, пахнувший навозом, склонил ко мне всклокоченную потную макушку.

Я что-то бормотнул в ответ невразумительно и шагнул в обход, но он поймал меня за руку и показал глазами на скамью у палисадника. Я, как обреченный, последовал за ним.

— Садись, — сказал он строго и сам присел на край. — Чирикаешь — чирикай, все не баловство. Глядишь, и в люди выйдешь... А я тебе, парнишка, подарю совет: ищи струю — не брызги... Вы, говнюки, придумали мне кличку, а если разобраться по уму, то вовсе я не в коршуны гожусь, скорее, парень, в сокола! — Он взял меня под локоть и заглянул в глаза, обдав табачным смрадом. — Я расскажу, а ты рассуди, где тут струя, где брызги...

Нужен был он мне со своими струями и брызгами!

Мы, детвора, давно и крепко не любили Коршуна. Весной в сельпо списали ящик сигарет и, не подумав о последствиях, бросили в разрушенный подвал. Мы решили «испытать» курево на годность. Закрылись в уличной уборной, разорвали пачку... Коршун шел проулком с конного двора, увидел дым столбом, подкрался, как лазутчик, закрыл нас на вертушку. Когда мы обнаружили себя в коварной западне, было уже поздно — матери пришли. А они в вопросах педагогики были не сильны и применили к «испытателям» дедовские методы воздействия... И еще за то мы не любили Коршуна, что он, работая объездчиком, шугал нас, словно зайцев, с гороховых полей.

— ... Я в должности механика-водителя всю войну прошел. Курск, Житомир, Киев, Перемышль освобож-

дал. — Коршун выпустил мой локоть и, загибая пальцы на руке, стал перечислять, брызгая слюной. — Бреслау, Дрезден занимал. Днепр форсировал и... эту, Шпрея называется! Штурмом брал Берлин!.. Коршун или сокол? Польшу, Венгрию и Австрию с боями переехал. На Параде Победы шел в сводном полку знаменосцев Покрышкина! А сколь орденов у меня! Одной Красной Звезды три награды. Медали не считаю! Так коршун или сокол? Вот о чем писать-то! Зайди когда-нибудь, такое расскажу — за жизнь не перепишешь.

Опять я что-то бормотнул и глянул недоверчиво на деда. Уж больно скучный, серый его вид не соответствовал образу бесстрашного танкиста в моем воображении. Я не собирался к Коршуну с визитом, и он прекрасно это понимал.

— Эх вы, говнюки-и! — Встал со скамьи, махнул рукой, пошел через дорогу.

Кабы ведал он тогда, что мне приходилось писать о нем под диктовку бабушки! Но не в районную газету для рубрики «Нам пишут» и не о ратной славе бывшего танкиста, а жалобы на имя председателя Совета...

Случалось, приходил домой, а бабушка отхаживала вялого гусенка.

— Изверг! Паразит! — стонала и грозила кому-то кулаками. — Опять злодей гусенка загубил!

...Гусыня с выводком обычно паслась на бережку у озера. Бабушка вязала или вышивала, сидя под талинами в тени, случалось, засыпала ненадолго, а проснувшись, видела порой гусенка изувеченным или вовсе недосчитывалась нескольких. Подозревала Коршуна.

— Он, душегубец. Он!

— А может, бабушка, всамделишный коршун налетел? Ты же ведь не видела.

— Кабы, внучек, видела! Кабы я увидела, я бы ему, вражине, зенки поцарапала. Он. Не сомневайся. У него об эту пору гусиная болезнь. Люто гуся ненавидит.

— Почему?

— Он мальчонкой в гусепасах пробивался. Ну и, видно, тешился мечтой о табунке, да гуси не прижились у него... То не выведет гусыня, то собаки подерут, то разом передохнут. Бился-бился — отступился, а злость, видать, осталась, перешла в болезнь... Все! Лопнуло терпение. Садись, внучек, пиши!

Я садился и писал под диктовку бабушки: «Председателю Совета... Заявление... Прошу привлечь к ответу... за изуверство над гусятами...» Я записывал фамилии сельчан, у которых Коршун раньше изувечил или порешил одного или нескольких гусят...

Бабушка, диктуя, выпускала пар, и под столбцом фамилий на бумаге появлялась краткая дописка: «Можно не сажать злодея в заключение, а ударить штрафом по карману».

Я составлял бумагу, зная наперед, что хода ей не будет. То председатель сельсовета был в отъезде, то выпадало воскресенье. Бумага, сложенная вдвое, ложилась под клеенку на столе...

Я так и не поверил бы в гусиную болезнь бывшего танкиста, если бы не случай. Приболела бабушка, и я был снаряжен взамен ее на озеро. День выпал солнечным и жарким. Я накупался в досталь, лег ничком на ласковый мурок, изредка поглядывал на гусиный выводок, двигавшийся медленно к дороге, по которой скотники ездили на ферму, а Коршун — на поля. Мне

бы повернуть несмышленных к озеру, но, разомлев от зноя, я был не в состоянии заставить себя встать. Моя гусыня между тем вышла на дорогу, и колобки-гусята шустро покатались за опрометчивой мамашей. В это время случай вынес из проулка Коршуна верхом на рыжей кляче. Старик пустил кобылу рысью, проехал мимо табунка, но вдруг остановился. Привстал на стремена, обвел вокруг глазами. Конечно, он меня увидел, но посчитал, что сплю. Он взялся за поводья и повернул назад. Гусыня, видимо, почуяла опасность и, растопырив крылья, выгнув шею, пошла отчаянно на всадника... Но было уже поздно. Коршун, озираясь, занес над головою плеть прежде, чем я вскрикнул, с силой опустил ее на выводок. Гусыня взгоготала, распласталась по земле. В дорожной серой пыли слабо трепыхнулся желтенький комочек. Гусята врассыпную бросились с дороги...

Приладив плетку за луку, ударив каблуками по бокам кобылы, старик пустил ее широким плавным махом. Я видел только спину...

Когда я повзрослел, то много размышлял о его судьбе. Все было у него для беззаботной жизни: дом, хозяйство и достаток. Недоставало малости. Но был ли счастлив Коршун?

Когда-то он просил написать о нем. Я и написал. Но, сказать по совести, до сих пор не разобрался, что в его судьбе — струя, что — поток, что — брызги.

Камытинцы

(узел)



Письмо без приветия от Кирилла



Сначала был сон. Будто напали с Никандром на смо родину. Ягода сильная, спелая, росная. Вот уже и ведро с горкой, а глазам все мало. И тут из-под чащобы змея-гадюка выскользнула да по-собачьи как-то хватать за пятку! Сверлит глазищами своими погаными и вроде ухмыляется.

От страха и проснулась Евдокия. Нехороший сон, подумала. Решила днем зайти к соседке — толковательнице снов. А наступило утро — в хлопотах забылось.

Вечером шла от колодца и в почтовом ящике сквозь рядок круглых отверстий снизу усмотрела белый уголок конверта.

Никандр у окна сидел, сапог латать налаживался.

— Ну-ко, смотри, от кого? — вручила письмо мужу и присела рядышком.

Никандр подробно рассмотрел картинку на конверте и обратный адрес.

— От Лариски, мать! От дочери! — Вынул из конверта убористо исписанный листок с подвернутыми узкими полями, разгладил на коленях, нацепил очки.

— Да не томи же, ну тебя! — поторопила Евдокия.

Никандр стал читать:

— Здравствуйте, родные наши мама, папа, бабушка и дедушка! С чистосердечным приветом и массой наилучших пожеланий к вам ваши дети и внуки — Лариса с Анатолием, Степан с Марией, Светлана с Гриней, Алексей с Глашей, а также Шура, Эдик, Капа и Олежка с Леночкой...

— Разогнался, торопыга! — прервала Евдокия. — Ты чего читаешь-то?

Кустики Никандровых бровей недоуменно вскинулись. Евдокия повторила привычную последовательность имен детей и внуков:

— Лариска с Натолием — раз, Степа с Маней — два, Светланка с Гриней — три, Лексей с Глафирой — четыре... А допрежь Шурочки Киря должен стоять. Чего читаешь-то?

Никандр опять в письмо уткнулся.

— А верно, мать... Нет Кирьки.

— Как так — нет? — Оторопела Евдокия. И обмякла разом. — Кирюшки пошто нет?

Стул под Никандром жалобно скрипнул.

— Слушай дальше, что ли! Посылку получили, все дошло в сохранности, не знаем, чем благодарить...

Но Евдокия уже витала в мыслях о Кирилле. Зародились подозрения, одно другого хуже.

— Да пошто же про Кирюшу-то ни слова? Ладно ли у них?

Остаток вечера прошел в тревожных размышлениях.

... Дети в их большой семье росли здоровыми и дружными. Только младшенький, Кирюша, сызмальства хворал — сердце было слабое. Какой-то клапан вроде прохудился... Лариска сообщала, будто знатный доктор за Кирюшу взялся. Который эти клапана штопает, как дырки на носках. Сам Кирюша писал редко и мало. Старики не обижались — сочувствовали занятости сына: не здоровьем, так умом взял их последыш — выучился выше всех сестер и братьев, на ученой должности работал...

Каждое словцо из странного письма переосмысливали родители. Походили неприкаянно по комнате, поужинали дотемна и молча улеглись.

— Телеграммку, что ль, отбить? — проговорил Никандр.

— Завтра же дадим! — подхватила Евдокия.

Забылась лишь под утро. Не спала — какой там сон! Ворочалась, вздыхала. С рассветом соскочила, и Никандр увидел с болью в сердце, как потемнела Евдокия в одну ночь. Душно сделалось ему. Он встал и вышел в сенцы, бросив на ходу:

— Езжай-ка, мать, в командировку... Успевай к автобусу!

...А вечером в Ларискиной квартире было шумно, тесно. Сидели за столом. Сыновья и дочери читали привезенное матерью письмо, упрекали старшую сестру. Евдокия в окружении внучат вступилась за Лариску:

— Да будет, будет вам! Подумаешь, беда — Кирюшу пропустила!

И о Никандре думала уже — как он там один? И себя за недогадливость корила: змея во сне — к свиданию с родными, а ягода — к пустой тревоге. В руку сон!

Крестный Мишки Сурина

Мишка Сурин к крестному подался. Со всем своим семейством. Сам впереди, за ним — цепочкой — суринята катятся, позади Аня семенит. Игнат — крестный — вышел со двора. Щурится. Встречает.

Вот дружба — не разлить водой! А с пустяка ведь завязалась.

...Мишка и теперь, в весьма солидном возрасте, нет-нет, да и выкинет номер, а холостым чудил — не вспоминай!

Как-то раз накануне уборочной получил он новенький комбайн. Выпил, как положено, — технику обмыл. А вечером на танцах спьяну объявил:

— Женюсь, орлы. Железно!

Новость всколыхнула все село. Еще бы, самый заводной и взбалмошный, видать, угомонился. Приятели, понятно, опечалились, у старух душа запела, и деды решение одобрили.

Мишка петухом разгуливал по улице в обнимку с Адой Алексеевой, приезжей медсестрой. Ада заливалась звонким смехом от Миш-



киных острот, а перед Игнатовой избой, где квартировала скромница Анюта, дважды жениха под ручку провела...

Но вот поздно вечером — у крестного укладывались спать — явился Мишка Сурин. Трезвый и смурной. Несмелая Анюта, зардевшись, в горницу метнулась. Игнат смекнул, что к чему. К Аде Алексеевой у него имелся давний счет. Зимой, когда лежал в больнице, она в вечной спешке вприснула снотворное, после которого Игнат спал беспробудным сном едва ль не трое суток, не на шутку всполошив врача, родных и саму Аду.

— Ты, крестный, — начал Мишка, — в курсе моих планов. Надумал я жениться, но загвоздка вышла... Ада к старине пристрастие имеет. Иконы, самовары, прочий атрибут ее интересуется. Вот, говорит, поженимся, свезем все это в город, обставимся на зависть! Свадьбу тоже требует по старинке сыграть. Чтоб на тройке с бубенцами да в расписной кошевочке... И никак иначе. Придется ждать до снега. Но это полбеда. Вот где кошевку взять?

Крестный усмехнулся.

— Снег не за горами. Кошевка, Миха, есть. Игрушка — не кошевка! Тятиня работа. Но оглобли спрели.

Мишка встрепенулся.

— Оглобли — не полозья. Завтра и заменим. Договорились, крестный? По рукам?

По рукам, так по рукам.

Наутро — Мишке невтерпеж — в березняк отправились. Пришли. Игнат дал крестнику топор, сам на валежину присел, самокруткой затянулся.

— Руби, — сказал, — на выбор.

Мишка глядь по сторонам — кругом стоят красавицы, рубить рука не поднимается. А надо. Облюбовал одну, смахнул ее, очистил. Присмотрелся — а ствол-то с кривизной!

Расстроился. Смахнул другую белоствольную. Всем хороша, но комелек с гнильцой!

Мишка от досады топор в кусты забросил.

А крестный щурится лукаво.

— Мой тебе совет: малость погоди. Не на рассвете свадьба. Вот наступит осень, опадет листва, все они, голубушки, насквозь просматриваться будут. Тогда не ошибешься.

Мишка выпучил глаза. Моргнул и кепку оземь.

— Ну, крестный! Ну, хитрец! Будь по-твоему! Согласен!

А там уборка началась. Работал Мишка яро. Так, что на бункере его комбайна алели звезды лидера. Ада Алексеева с иконами в город укатила. Мишка бровью не повел. Молодежь воспрянула, старухи опечалились, а старики затылки поскребли, но жениха не осудили.

С тех пор, когда, случается, камышинские парни привозят на показ городских невест, и те не нравятся родным, они вздыхают втихомолку: «Сгонять бы в рощу за оглоблями такого жениха!»

Отпустило!



От бестолкового вчерашнего разговора щемило в душе.

Старик, кряхтя, сполз с кровати, на ощупь отыскал брюки и рубаху. Сапоги сушились в кухне на плите.

Широко расставив руки, на цыпочках подкрался впотьмах к печке. С дробным перестуком рассыпались поленья.

— Ты, что ль, Михей? — испуганно спросонок окликнула жена. — Чего поднялся спозаранку?

— Отлежал бока! — буркнул приглушенно.

Феша недовольно повернулась к стенке.

— Встал, так Майку в стадо выгони. Да порося не проворонь. Вчера прокараулил, а он вспахал пол-огорода.

— Спи, сорока. Спи! — старик потоптался на кухне, зашел в закуток, где на кровати затылок к затылку спали близнецы-внучата. Поправил одеяло, подоткнув края, постоял у изголовья. Проникшие сквозь ситцевую занавесь солнечные лучики скользили по облупленным носишкам малышей. За перегородкой всхрапывал во сне сын Леонид...

Старику по душе предрассветные минуты. Обычно он распахивал окно, и солнечный поток разметал по щелям тяжелую дремоту. Дом наполнялся звуками. «А я на ферму нынче, мать, — сообщал старик, когда сходились за столом. Или: — В столярку я сегодня, Игнату пособить». Феша отставляла чашку чая, неодобрительно вздыхала: «Сидел бы лучше дома, старый. Чего тебе нейметя?»

Но сегодня к чаю не притронулся. Сидел молчком, как виноватый. Только когда сын, застегнув комбинезон, уже от порога метнул на него вопросительный взгляд, отвернулся к окну, просипел:

— Скажи Игнату, чтоб не ждал.

Сын недоуменно поглядел на мать, та — встревоженно — на мужа.

— Почему, отец?

— Почему да почему! Хватит, наработался... Скажи, что приболел.

...Переменчивы первые дни бабьего лета. Утром зябли ноги в сапогах, днем жаром опалило землю. Се-

рая несущка с мутной наволочью в бусинках глаз расправила подрезанные крылья, встряхнулась на завалянке. По большаку консервной банкой прогромыхал грузовичок, протарахтел, чадя, бульдозер.

Старик сидел с утра на скамье под окнами. «Ах, Санька-ветрогон! По сердцу, сукин сын, царапнул!»

Холостяка и забияку Саньку Щелкунова уволили с работы. Он продал отцов домишко и по такому случаю угощал на бревнышках сельповских работяг Валерку с Афанасием. Старик тем временем шел мимо. Пристали: посиди! Присел, как на беду...

Крепыш, с головой, как бильярдный шар, круглой и гладкой — эдакий жук-носорог в кожанке и джинсах — Санька Щелкунов спьяну разболтался. Рубил сплеча руками-коротышками, поминутно вскакивал, утверждая, что начальство подкопало под него, потому что много знал. Уговаривал Валерку с Афанасием махнуть в благословенные края, где «рубь заробишь — два получишь», и никаких тебе проблем...

Старик послушал, не сдержался: «Ботало ты, Санька!»

Санька поперхнулся: «Это как понять?»

«Так и понимай: ветрогон и ботало».

«Нет, дед, объясни-и! С чего вдруг ветрогон?»

«С того, что пусто за душой. Везде ты птах залетный. Скачешь с ветки на ветку, покуда солнышко светит. Хотя и птах гнездо свое имеет, а ты его продал».

Санька хохотнул: «Ну и выдал ты, старый! На фиг мне отцова развалюха? Да на такую-то на Севере я за год зашибу!»

«Все бы зашибал! Все паришь да зыришь, где бы зашибить. Ни кола ни двора... Для кого зашибка?»

Людам что оставишь? Добрым словом кто тебя помянет? Об этом думал, нет?»

Санька Щелкунов ощерился в прищуре. «Так, так! Заговорил! Прямо как в кинухе! Кто добром вспомянет, да? Помянут, не бойсь. Хотя б они, соколики, — кивнул он на Валерку с Афанасием. — Вот, скажут, был друган! Угощал, не жмотился. А людам нуль оставлю. Как и ты, старик. Вот проходил ты свою жизнь с топором в обнимку, считай, что полсела отстроил, ну и что с того? Увековечился, ага? Шиш на постном масле! Снесли твои постройки. Смахнули... Круглый нуль!»

Бормотуха кончилась, Валерка с Афанасием нехотя поднялись. «Пустое, мужики... Никчемный разговор!»

Промолчал старик. Топор под мышку сунул и пошел домой, а ночью и раздумался... В чем-то прав пройдоха!

Сельчане покидали Михеевы дома, с радостью вселялись в совхозные — кирпичные. Все реже принимал он приглашения на праздники, грустил на шумных новосельях, будто на поминках. Собственных поминках...

«Ах сукин ты сын, Санька!..»

Старик поднялся тяжело, подошел к забору, сдернул холщовый мешок.

— Далеко ли, отец? — насторожилась Феша.

— На стройку за щепой.

— Вот ведь интересный! Давно ли ворчал, что двор щепой захлामीла?

Старик махнул рукой и открыл калитку. Пошел неспешно в конец улицы. На бугре по-бычьи пятился бульдозер...

«Ленькин... Леонидов!» — и сердчишко екнуло.

Стороной вприпрыжку понеслась ватага детворы.

— Ребя! Сносят!.. На Михе-е-евой!..

Старик будто споткнулся. Встал на полдороге.

— Сно-о-осят!.. На Михе-е-евой!

Нет, он не ослышался. «Вишь ты, на Михеевой!» Старик едва доковылял до бревен у ограды. Сел и отдышался...

— Выходит, что не нуль? Дулю тебе, Санька!

Он представил, как сейчас явится в столярку, как спросит в удивлении Игнат: «Что, отпустило, Михей?», а он усмехнется в сторонку и скажет: «Отпустило!»

И, представив, улыбнулся.

Пальяновы талины



До войны в бревенчатой избушке на краю села жили Пальяны — горбатая старушка с внучоном-сиротой. Пальяны да Пальяны, никто их не звал по-другому. Держали табунок гусей, козу, старуха повитушничала — тем они и жили.

Мальчик рос послушным, вдумчивым, но не чурался одногодков. И никто не усмотрел в нем поначалу диковинную тягу к рисованию. Рисовал он талины у озера. Высунув кончик языка, затаив дыхание, подробно, тщательно выписывал корявые стволы вековых деревьев, длин-

новетвистую, густую, к воде свисающую крону — то светло-веселую, то предзакатно-темную, то молочно-белую...

Успехи мальчика в пейзаже открыл немой сапожник Акимка Трехэтажный — Аким Акимович Акимов. Он собрал рисунки и послал в райцентр. Немому ликованию старого сапожника не было границ, когда на имя мальчика пришел увесистый пакет с красочными книжками и благодарственным письмом, коим сообщалось, что пейзажи удостоились поощрительного приза на одной из выставок детского рисунка...

Пальян окончил семилетку и курсы трактористов, но в свободные часы все же рисовал на берегу любимые деревья.

Как-то незадолго до войны пригласили его в сельсовет, предложили написать к 7 ноября транспаранты вместо заболевшего завклубом. Никто в Камышинке не знал, что ответил Пальян на предложение, но только транспаранты изготовил плотник. А перед Рождеством сельского художника неожиданно куда-то увезли...

Прошло много лет.

Умерла горбатая Пальяниха. Осиротевшую избушку на краю села сперва заколотили, а затем и раскатали. Талины почернели и засохли, мертвые деревья спилили на дрова...

Однажды появился в селе незнакомый старик-бородач. Он прошел по улице из конца в конец, ненадолго задержался у бывшего пальянова двора, проулком вышел к озеру. Установил мольберт. Через несколько минут на холсте в подрамнике засверкали свежей краской сочные талины...

Старые талины, которых уже не было.

Товарищеский суд

Контора первого отделения гудела роем. Громче других кричала Марунечка Попова:

— Его, морду бесстыжую, не товарицким судить бы — уголовным. Самым настоящим уголовным! Распоя-ясался! Мало дома выкамаривает, так еще и в люди вывез свою дурь!

Марунечку понять было нетрудно: дома стирка с вечера ждала, а не уйти из любопытства.

Судить собрались Гошку Вижевитова, совхозного шофера. Долговязый и понурый, он стоял спиной к залу перед кумачовым заседательским столом.

Доярки откровенно злопахательствовали.

— Достукался, задира...

— Ишь, как он набычился!

— Не по нутру-у ответ держать!

Председатель суда плановик Емельяныч обвел зал водянистыми, навывкате, глазами, выставил ладони — пышные, как свежие оладьи.

— Итак, приступаем... Фамилия? Имя? Отчество?



Гошка усмехнулся, дернул подбородком.

— Будто видишь первый раз!

— Он еще и фыркает! — вскрикнула Марунечка.

— Твое дело — отвечать, — напомнил Емельяныч.

— Не паясничайте, Вижевитов! — подала голос Кормушкина Зина, молодой специалист. — Здесь не место. Вот. — В качестве члена суда Зина выступала первый раз, поэтому заметно волновалась.

Зал опять всколыхнулся.

— Зря с ним нянькаемся... Зря!

— Его и уголовным не проймешь!

— Время убиваем!

Тракторист Толик Шатохин крикнул от двери:

— Давайте ближе к делу. Прицепились к слову!

Доярки перекинулись на Толика.

— Стой, заступник... Сто-ой!

— Сам-то недалеко отошел!

— Рядышком поставить бы!

Толик буркнул и умолк.

Председатель успокоил:

— Тише, саранча. Всем дам слово. Потерпите. Дело-то серьезное... Все в курсе, о чем речь? Тем, кто еще не в курсе, привлекаемый сейчас коротенько обрисует. Обрисует хулиганский свой проступок... Слушаем тебя, товарищ Вижевитов!

Гошка вздохнул удрученно.

— Дело, конечно, поганое...

— Ясно, что не доброе, — хмыкнул Емельяныч. — За добрые дела людей не привлекают.

Гошка пригладил свои ершистые волосы.

— Значит, дело было так... Привез зерно на элеватор. Дай, думаю, в столовку заскочу. А очередица —

будь здоров, будто к Мавзолею. Ладно, отстоял. Взял салат, рассольник, два вторых...

По рядам прокатился смешок.

— Ты нам не рассказывай, что взял...

— Знаем твой аппетит!

Гошка пальцем придавил горбинку носа.

— Взял, чин-чинарем рассчитался. Столик искал.

Гляжу, в углу один сидит. Сидит, как фон-барон... Сопляк.

Зина Кормушкина выгнула брови.

— Подбирайте выражения! Вы не где-нибудь — в суде.

Гошка согласно кивнул.

— Сидит... Сметана перед ним, рассольник и гуляш...

Зал покотился со смеху.

Гошка психанул.

— Да ну вас, в самом деле! Что я вам — Хазанов?

Емельяныч откашлялся в скомканный платок.

— Ты нам аппетит не растравляй. Все после работы!

Гошка отмахнулся и продолжил:

— Поставил я поднос. Посудница у двери с кем-то лясы точит. Спросил, где умывальник. Нет, говорит, воды. Вышел я на улицу — колонки не видать. А пот с лица струится. Рукавом обтерся и — за стол. А этот... нос воротит. Что, думаю, воротит? А руки у меня черные, в мазуте. Я их только к зиме мало-мальски отпариваю. А этот: столик, дядя, диетический. Ну и что, что диетический? Я, может, тоже на диете. Гляжу, мурло знакомое. Знакомое, и все тут. А сразу не признаю. А он, сопляк, скривился... Ах, думаю, поганец!

— Ты б полегче, Вижевитов! — одернул Емельяныч.

— Шпарь, Гошка. Шпарь, как получается! — выкрикнул Шатохин.

Кормушкина Зина привстала.

— Может, позволим на маты ему перейти? Ему так привычней!

Гошка закончил отчаянно:

— Ах, думаю, поганец! Обидно стало мне. Кусок в горле застрял. Хватаю свой рассольник и — за соседний стол. А он: давно бы, дядя... И тут узнал поганца. По голосу узнал. Вспомнил, как, бывало, уши ему драл. В детстве. За шkodливость. Шkodливый был поганец! И ухватил за ухо. Эх, как он заверещит, как заверещит: милиция, дружина! Точь-в-точь мамаша голосистая!

— Так сразу и за ухо? — усомнился Емельяныч.

— Если б не узнал — не ухватил бы!

Марунечка Попова не стерпела.

— Знаем Вижевитову породу! Не из родни, а в родню. Кто первым драчуном на селе считался? Дед его, покойничек!

Доярки подхватили:

— А Парфенка? Позабыли? На седьмом десятке лет драку учинил. Да какую драку!

Вспомнили. Парфенка Вижевитов шел от сына Гошки навеселе. Шум толпы за клубом привлек его внимание. Старик сообразил, что местные затеяли разборку с чуждеревенскими. Недолго думая, Парфенка с возгласом «Знай наших!» вклинился в толпу, боднул кого-то из своих...

Гошка краснел и бледнел. Слово взял Шатохин.

— Вот знаете, что Гошка взял кого-то за ухо... А кого — не знаете. Я сейчас скажу. Афишу поучил. Бывшего стажера!

В зале стало тихо. Так тихо, что донесся гул далекой лесопилки. Марунечка Попова плавно поднялась. На пунцовых круглых щеках забелели ямочки.

— Он чего плетет, бесстыжий? Он чего тут сочиняет?

Афиша — младший сын Марунечки — стажировался некогда у Гошки, но был уволен за прогулы. Теперь крутил кино в райцентре.

Емельяныч недоверчиво склонился над бумагой.

— Точно, — кивнул он. — Тесен мир, товарищи. Наш Попов... Киношник!

Первой вскинулась Марунечка. В глазах сверкнули огоньки.

— Он почему в столовой-то обедал? Живет ведь в двух шагах! — Сраженная догадкой, медленно осела. — С бабой он развелся... Уже который раз!

Зашевелились, загалдели... Емельяныч умолял:

— Кто выскажется? Кто? Хотя б для протокола!

Никто не поднимался.

Марунечка кричала растерянному Гошке:

— Ремнем бы опоясал при всем честном народе, чтоб не позорил матерю на старости-то лет!

...Суд ушел на совещание. Мужчины вышли покурить. Гошка нерешительно топтался в коридоре. Шатохин вдруг припомнил:

— Сидим тут, заседаем, а на Зеленой речке окуни сдурели. Клюют, как сумасшедшие, — успевай таскай! Глаза у Гошки заблестели...

Шатохин знал, что Вижевитов — рыболов заядлый.



Свистун

После трех лет добровольной разлуки вернулся в село Васята Кутырев, по прозвищу Свистун. Вернулся. Отоспался. Надел костюм, в па-

радном виде вышел за ворота, просвистел раздумчиво. В надежде на нечаянную встречу со старыми друзьями направился к селу.

Навстречу — Зинаида Мосалева. В одной руке — кошелка, другую козырьком приставила к надбровью.

— Никак Васятка Кутырев?

— Он самый, бабка Зина!

— С ходу не признаешь — э-эвон обмужал! Да при таком кустюме. Будто и не нашенский. Иде ж ты был так долго?

— Где Макар телят не пас! — хохотнул Васята.

Старуха не расслышала.

— Робил, што ли, где-то?

— Пахал, бабусь. Пахал.

— Так ведь и нашенские пашут. Пашут, сеют, косят... На кой прах забрался на край света?

— Бабки, бабушка, сшибал! — невольно скаламбурил Васята Кутырев. Высвистнул колено, пошел своей дорогой.

Старуха проводила его долгим мягким взглядом.

— В бабки, вишь, играл! Не-е, не жди путя. Не будет. Свистуном останется. Хоть при каком кустюме!

Ёдиница Экономии



Не в щетке дело



У Раисы Павловны запропастилась щетка. Эластичная, прочная, мягкая. Ею мусор на совок удобно было заметать. Занесет Раиса Павловна дров охапку со двора, бросит к печке, щеточкой раз-два — мусор на совочек. Просто и культурно. Года полтора лежала щетка на предтопочном листе, а сегодня на тебе — исчезла! Раиса Павловна туда, Раиса Павловна сюда — улыбнулась щеточка. Как сквозь пол ушла.

Раиса Павловна — в гараж. Муж, Сергей Иванович, машину ремонтировал, в моторе ковырялся. Руки черные по локти, лоб и нос в мазуте, весь насквозь в солярке, но счастливый. Еще бы, подфартило! С рук «Ниву» приобрел. Избитую, в царапинах, с замызганной обшивкой, но по дорыночной цене,

и можно воскресить, если постараться. Чем и занимался третий выходной...

— Турум-турум, турум-ту-ру-рум... Турум-турум, турум-турум...

Раиса Павловна, не мешкая:

— Щетку зачем взял?

— Какую еще щетку?

— Какую! Половую. Которую унес.

— Не брал я твоей щетки.

— Как это — не брал? Что ж она, по-твоему, на крыльях улетела? Твоих рук не миновала. Верни сейчас же щетку!

— Не брал я. Отвяжись. Свой венчик в углу.

Раиса Павловна моргнула озадаченно.

— Правда, что ль, не брал?

— Вот еще пристала! Сунула куда-то, а с меня справляет.

Хмыкнула раздумчиво и вернулась в дом. Кухню обыскала, под диваном и кроватью кочергой обшарила, в шкаф заглянула — испарилась щетка. Ну, куда девалась? Вот же — тут — лежала утром. На виду. Кошка закатила? Не могла. Она ее боится. Собака утатила? Та давно на привязи. Кто еще мог взять? Соседка? Не была сегодня...

Раиса Павловна в сердцах сплюнула, ругнулась и опять — в гараж.

— С обыском пришла!

— Тебе что, делать нечего? — вспыхнул Сергей Иванович.

— Ты спер, больше некому.

— Вот клянусь, не брал!

— Не клянись, не верю.

— Ну, тогда ищи.

— Найду... Найду и отхожу. Этой самой щеткой. Отпояжу пакостить. Все в гараж свой тащит. Люди в дом, а он в гараж. Тряпки все стаскал. Юбку почти новеньку на обтир извел!

— Ты чего буровишь-то? Ты юбкой пол помыла. Вон, на заборе твоя юбка до сих пор болтается. Прикуси язык-то!

Прикусила. Приступила к обыску. Ведра, баки, ящики — все перевернула, ветошь и обтир перетрясла. В «Ниву» заглянула, сиденья подняла, под капот нос сунула...

Нет щетки в гараже. Что ты будешь делать!

— Ну, убедилась, нет, кулема?

Раиса Павловна уперлась. Хоть бы посочувствовал, турурумчик чертов!

— Ты взял щетку. Ты. Спрятал ее где-то. Знал, что в гараже обыск учиню.

Сергей Иванович слегка скрежетнул зубами. Аж губа отвисла.

Раиса Павловна бочком из гаража. Обидно. Хоть реви. Дело ведь не в щетке. Щетка — тьфу, пустяк, грошовая вещица. В хозмаге целая гора. Куда девалась — вот вопрос. Кошка отпадает, собака на цепи, у соседки алиби... Домовой упер в подполье? Инопланетяне свистнули? Да он же. Он. Упер и отпирается. И не сознается. Таскун!

Сергей Иванович пришел из гаража.

— Турум-турум, турум-ту-ру-рум!.. Что у нас перекусить?

— Хрен с морковью! — рявкнула супруга. — Проголодался, пакостник? Корми его теперь!

Сергей Иванович вздохнул и крикнул от досады. Ушел и слова не сказал. И не хлопнул дверью. Хоть бы дверью хлопнул!

Раиса Павловна — вдогонку:

— И не возвращайся! Можешь оставаться в гараже. Днью там и ночуй!

Обследовала двор. Кладовку, дровяник, собачью конуру. Как корова языком слизнула щетку!

Раскинула колоду. По раскладу вышло — дома где-то щетка. Король трефовый отпадал. Руки умывал... Врут все эти карты!

Он. Конечно, он. Испортил настроение, все планы поломал. Стирку затевала. Теперь какая стирка? Аж в голову ударило...

Пропади все пропадом, лучше отдохнуть!

...Пробудилась вечером. Сергей Иванович сидел бокком у окна и глядел на улицу. Раиса Павловна зевнула, села, ноги свесила. Со свежей головой пустилась в размышления: «Встала в шесть утра, за картошкой слазила — он еще лежал. Почистила картошку, дровишек принесла — он уже поднялся. Собаку, кошку накормила, прополосала грядку — он уже позавтракал. Посуду перемыла, сходила в магазин, выстояла очередь — он уже ушел. Спички замела...

Стоп, стоп, стоп! На месте, значит, была щетка? Выходит, что на месте... Спички замела. Прикурит, бросит, где попало, ходи за ним с метлой. Дров в печку натолкала... А щетку в печку не отпра..?»

Сергей Иванович косился от окна.

«Ага, в печку заглянула! Губу-то прикусила! Создается иль нет? Неужели затопит? Эх, кулема ты, кулема! Не вижу и не слышу. Что с тебя возьмешь?!»

Загудел в печи огонь. Теплее стало в доме.

Коллеги



Через сутки в один и тот же час из домика в конце деревянной улочки выходил пешеход — Иван Никитич. Направлялся он в детсад «Дюймовочка», где работал сторожем. Ивану Никитичу 63 года, он легок, сух, подвижен, хотя и припадает на раненую ногу. Всякий раз, проходя мимо детсада «Серебряные крылышки», старик думал: вот куда бы перейти — дорога вдвое короче, а это большое облегчение для моей ноги.

Примерно в тот же час из домика на противоположном конце улочки выходил другой пешеход — Зот Наумыч и, часто останавливаясь, отдыхая, шел в детсад «Серебряные крылышки». Зоту Наумычу 65 лет, он тучен и медлителен. Всякий раз, проходя мимо «Дюймовочки», Зот Наумыч думал: хоро-

шо бы сюда перебраться — дорога вдвое короче, а это много значит при простреленном легком...

Ночными сторожами старики работали не первый год. Иван Никитич был привязан к малышам из «Дюймовочки» и предан заведующей Розе Николаевне, Розочке. А Зот Наумыч был не в меньшей степени привязан к малышам из «Серебряных крылышек» и предан заведующей Вере Сергеевне, Верочке.

Старики встречались по дороге на работу и с работы, но в эти вечерние и утренние часы узкая улочка настолько бывала запруженной людьми и машинами, что познакомиться им так и не довелось.

Если утро выдавалось ненастным, Иван Никитич из «Дюймовочки» и Зот Наумыч из «Серебряных крылышек» домой не спешили — спешить им было не к кому. Они на часок-другой задерживались с малышами, которые, надо сказать, очень дедушек любили — ведь дети любят всех, кто любит их.

Малыши — народ любознательный. Их интересовало, отчего у деда Вани «ковыляет ножка», а у деда Зота «свистит грудка». Старики могли бы рассказать им много о себе, поведать немало фронтовых историй, но дети не умеют долго слушать...

Однажды по пути с работы Иван Никитич увидел, что деревянный подосиновик на игровой площадке детского сада «Серебряные крылышки» горел на солнце свежеразкрашенной шляпкой. Через вечер он спросил у Розы Николаевны кисть и краски, обновил и свой грибок: ножку — белым, шляпку — красным. Освежил качели, столики, скамейки...

Зот Наумыч в свою очередь отметил перемену на чужой площадке, что слегка затронуло его самолюбие.

Он освежил забор: штакетины — зеленым, калитку — белым с желтым, под ромашку.

Иван Никитич долго думал, чем ответить, и наконец соорудил новые качели с лодочкой-сидением.

Через неделю во дворе детсада «Серебряные крылышки» взметнулась фанерная ракета...

Через полмесяца во дворе «Дюймовочки» выросла тесовая избушка на курьих ножках...

Время шло, а пыл соперничества не угасал. Перед Новым годом Иван Никитич вылепил Снегурочку с Дедом Морозом. Зот Наумыч ответил ледяной горкой...

Роза Николаевна и Вера Сергеевна недоумевали. И хоть активность сторожей вызывала у молодых руководительниц нечто вроде чувства утоленного честолюбия, была во всей этой истории оборотная сторона — не на шутку развернувшееся соревнование прибавило хлопот. Доски, краску, кисти, гвозди — все нужно было изыскать и привезти, и все это — затраты.

На торжественном собрании в честь Советской Армии Ивану Никитичу объявили благодарность и вручили подарок — голубую рубашку сорок шестого размера. Зоту Наумычу вручили Почетную грамоту и такую же рубашку пятьдесят шестого размера. Но при этом Роза Николаевна и Вера Сергеевна деликатно намекнули, что пора пригасить свои порывы.

До весны старики ревностно осматривали соперничающие игровые площадки, выжидая, кто первым бросит вызов.

Пришла весна, а с весной пришли хвори. Разболелась простреленная нога у Ивана Никитича, и он, опираясь на тросточку, с большим трудом преодолевал

расстояние от дома до «Дюймовочки». Зота Наумыча душил кашель, сухой и надрывный.

И оба призадумались.

Иван Никитич получал письма из Омска, в которых сын звал к себе. Зот Наумыч получал письма из Новосибирска, и дочь уговаривала переехать. Старики пораскинули умом, и оба пришли к одинаковому решению. Розе Николаевне и Вере Сергеевне, конечно же, не хотелось отпускать добросовестных работников, но и удерживать не стали — понимали их положение.

Уволились.

Уехали.

Сын Ивана Никитича — летчик, живет в новом районе за Иртышом, аэропорт рядом. По ночам старика беспокоил гул самолетов, привыкнуть к которому невозможно. Засыпал он лишь к утру. Болела нога, и во сне он громко стонал. В одну из бессонных ночей Иван Никитич оказался невольно свидетелем перешептываний сына со снохой.

«В конце концов, — выговаривала сноха, — я женщина, я устаю и на работе, и дома. Мне нужен отдых, но эти стоны! Почему бы отцу не подлечиться в госпитале?» Сын смолчал, но как-то раз, между прочим, посоветовал отцу обратиться в госпиталь. Иван Никитич согласился.

Дочь Зота Наумыча работает составителем поездов, живет в районе железнодорожного вокзала. По ночам старика беспокоил грохот вагонов, душил сухой кашель. И однажды он нечаянно подслушал разговор зятя с дочерью: «Мне очень не нравится его кашель, — вздохнул зять, — ведь он целыми днями возится с внуками. Надо ему показаться врачу...»

Утром старику стало совсем худо, и дочь вызвала «скорую».

Прошло еще с полгода.

Как-то раз Иван Никитич объявил сыну и снохе, что соскучился по городу, в котором вырос и состарился, и хотел бы проведать до сих пор не проданный домишко. Сноха и сын не возразили.

Иван Никитич по приезде встретился с Розой Николаевной. Теперь она заведовала «Серебряными крылышками», а Вера Сергеевна, Верочка, вышла замуж и уехала из города. Роза Николаевна призналась, что ей очень не хватает такого работника, каким был Иван Никитич, и предложила вернуться. Иван Никитич долго не раздумывал...

С тех пор через сутки в один и тот же час из домика в конце деревянной улочки выходит пешеход и направляется в детсад «Серебряные крылышки». По дороге на работу и с работы Иван Никитич уже не встречается с Зотом Наумычем и не проходит мимо детсада «Дюймовочка».

И всякий раз с горечью осознает: вот и стала дорога вдвое короче.

Фролыч и Болыун



Столяр домоуправления Егор Андреич Бородулин объявил по пьянке забастовку. Всерьез и надолго настроился. Спозаранку за столом. В просторных серых валенках, трусах, несвежей майке. На покрытой чахлой волосней груди бледная наколка — пунктирный контур голубя с цветочком в синем клюве. На кухонном столе — замызганное блюдечко с засохлыми комочками селедки, головка репчатого лука, стакан и бражка в трехлитровой банке. Егор Андреич забастовку совмещает с выпивкой. Сам себе компания. Голова с утра трещала, но теперь в порядке...

— А в Заполя-ярье мо-ок-ря-я метели, и з-за-амерза-ает в валенках кан-вой! — Егор Андреич кулаком усердно растирает крупный нос и смотрит на руки. Руки красные, будто с

мороза. — Тетка Любка, подь сюда, раз ты такая умная!..

Любовь Семеновна, она же — «тетка Любка», затаилась в горнице.

Егор Андреич кривится в нетрезвой ухмылке.

— Презираешь? Презира-ай! Я вас больше, может, презираю... Тьфу на тебя и на Фролыча. Вот и все, сымай верхонки!

Любовь Семеновна стремглав вбегает в кухню. Смотрит на сожителя с печальной укоризной, вздыхает глубоко, с грудным присвистом, руки на бока. Руки — сильные, мужские, с избитыми, в царапинах, локтями, но неприлично белые от соды. Любовь Семеновна уже давно на пенсии, но трудится посудомойкой в городской больнице.

— Глядите на него — разговорился. К разговору помануло немтыря несчастного. От трезвого словечка не дожدهшься, а тут прорвало, видишь ли, его!

— Пра-ашу без оскорбления личности!

— Эт-та кто у нас тут личность? Не ты ли, пьянь паскудная? Поглядись-ка в зеркало — на кого похож? Если, дрянь такая, к утру не отрезвеешь, я тебя устрою на курорт. Там и побастуешь, там тебе бражонки поднесу-ут! Главврач сказал, оформим быстро. Думал, все б тебе сходило?

С главврачом Любовь Семеновна действительно знакома. Он иногда заходит на кухню, заглядывает в мойку. «Семеновна сегодня? — произносит вместо «здравствуй». — Тогда мне делать у вас нечего, давай тогда командуй тут». Любовь Семеновна командует. Она гордится безупречностью в работе и дорожит доверием врача. При нужде, она уверена, всегда найдет к нему подход и встретит понимание.

Егор Андреич тоже не последний человек. Он — столяр-краснодеревщик, и цену себе знает.

— Не выйдет, тетка Любка. Кто ему весною делал рамы в доме? Егор Андреич Бородулин.

— Не выйдет, говоришь? Не выйдет — сдам в милицию. Там давно скучают по тебе. Так и заявлю, что бражку дома ставишь. Сахар переводишь. Сахар, между прочим, пищевой продукт.

— Но, но, словами не бросайся! — Егор Андреич, хмыкнув недоверчиво, косится на Любовь Семеновну. Поди узнай, что на уме. Шутить с милицией он вовсе не намерен...

Сидел Егор Андреич за язык. Точней, за анекдот. Статья такая есть «Болтун». На расспросы о своем «болтливом» деле он давно отделяется шуткой: «Сто шестнадцать пополам — были б рядом, дали б вам». Когда и где сидел Егор Андреич, знает только Фролыч — нынешний начальник и бывший конвоир.

Егор Андреич морщит лоб, с тоской глядит на банку с бражкой. Браги там наполовину, но душа не принимает...

— В ментовку ты меня не сдашь. И знаешь, почему? Я тебя за собой потяну. Потаскиваешь с кухни-то, ударница? Таскаешь потихоньку. От кого воруешь? Знаешь, сколько светит?

Неслыханная дерзость! Любовь Семеновна срывается на крик:

— Эт-та я-то тащу? Чтоб язык твой поганый отсох! Чтоб он отвалился! Да что я там тащу-то? Крохи со стола. Другие дак вагонами воруют! — Махнув в отчаянии рукой, она уходит в горницу. — Попрут тебя с работы, прогульщика такого!

— Я сам уйду куда-нибудь. Не буду с Фролычем работать. Жулик он и аферист.

— Да куда же ты пойдешь со своею биографией? Кто тебя возьмет, дурака такого?

... За окном, внезапно скрипнув тормозами, встает автомашина. Дернув острым подбородком, Егор Андреич замирает над столом, вслушивается в уличные звуки. В ограде щелкает калитка, звонко хрустит снег. Без стука входит Фролыч. В высокой рыжей шапке, в черных собачьих унтах, белая дубленка нараспашку. На внушительном носу — хрупкие очки...

— Фролыч, полюбуйся! Зафиксируй пьянку. Увольняйте, хватит церемониться! — вышмыгнув из горницы, кричит Любовь Семеновна.

— Можно и уволить, — Фролыч, сняв очки, с упреком смотрит на хозяина.

Егор Андреич явно в замешательстве, но держится с достоинством. Сидит, закинув ногу за ногу, одной рукой облокотясь на стол, другую положив на спинку стула.

— Садись сюда, начальник. Будет разговор!

— Мне с тобою не с руки за столом рассиживаться. Мне еще работа предстоит. Это ты у нас, Егор, человек свободный. Вольный и свободный. Хочешь — поработаешь, хочешь — побастуешь... То ли дело, жизнь-малина! Так ведь, тетка Любка?

— Чего не так, раз так.

— Что свободный — верно. Хочу — живу, хочу — помру. Это во-первых. А во-вторых, пра-ашу без оскорблений личности. Для кого-то — тетка Любка, для тебя — Семеновна. Пра-ашу усвоить наизусть... Садись для разговора.

— Разговор у нас с тобой состоится завтра. Утром. В кабинете, — уточняет Фролыч. — Сегодня мы друг дружку не пойдем.

— Тогда зачем пришел? Ключ от столярки нужен, да? Тетка Любка, дай сюда! (Ключи Любовь Семеновна держит при себе). Я сам ему вручу. Торжественно и чинно.

— Сиди уж, личность пьяная! — шипит Любовь Семеновна.

Фролыч деланно вздыхает, прячет ключ в карман дубленки.

— Что, скажи, с тобою делать? То работаешь на совесть, то вдруг забастовки учиняешь. Я ведь выгоню тебя, сколько можно нянчиться? Из-за шкафа обозлился? Да, шкаф у меня. В квартире. Хочешь, чтоб вернул его? Отдал по назначению? Какое твое дело, кому шкаф достанется? Твое дело — сделать. Много ты, Егор, на себя берешь! Вечно ты встречаешь! Задира ты! Болтун!

Егор Андреич угрожающе рычит:

— Не умирают старые привычки?!

— Я не про то. Про то давно забыто!

— А мною не забыто.

— Ну и дурак. Кто старое помянет, тому, как говорится... Мне служба в тундре тоже медом не казалась! И мне хватить пришлось! Не добровольцем записался! Имей же совесть, наконец!

— Во-на, как заговорил... Он меня и совестит!

— Я за особистов не ответчик. Я чист перед тобой. Думаешь, мне сладко было, да? С ножом-то за горбом?

Дальше происходит перепалка на повышенных тонах, густо сдобренная бранью и жаргоном:

— ... Зона... Мертвая дорога... Гулдэжээс... Фитиль... Барак...

— ... Колонна... БУР... Пятьсот вторая стройка...

— ... Зеленые... Ледянка... Эмвэдэвцы...

— ... Баланда... Суки... Короли...

— Да вы рехнулись оба! Прекратите! — кричит Любовь Семеновна, тяжело дыша.

— Ведь он заел меня, Семеновна! — жалобится Фролыч. — Ведь он как ржа неотлипучая. Из года в год одно и то же. Из года в год. Совсем с ума сошел мужик. Ну, явишься ты завтра на работу!

— К тебе-е? Ни в жизнь!

— Приде-е-ешь, куда ты денешься!

— К тебе-е?!

— Заткнись, дурак! — кричит Любовь Семеновна. — Тебе на Фролыча молиться нужно, вот! Другой бы кто давно тебя попер!

— А он, Семеновна, мое добро не це-е-енит! Он, Семеновна, добра не понимает!

— Я за ту доброту показушную карманный плотник у тебя. Я ТАМ не пресмыкался! Слышишь меня? ТАМ!

— Дерьмо-то так и хлещет!

— ... Добротой прощенье покупаешь?!

— Я-явишься в контору! А я подумаю, как быть. Незаменимых у нас нет.

Егор Андреич, опрокинув банку, вскакивает с места.

— С голоду подохну — к тебе не пойду!

— Как миленький придешь. А я еще поду... — Фролыч пулею выскакивает в сенцы. Вдогонку, в дверь, летит стакан...

До полуночи сидит Егор Андреич за столом. Курит, морщится, вздыхает. Тяжкие минуты отрезвле-

ния... Смотрит на часы — пора на боковую. Завтра на работу...

Он явится в контору, Фролыч тотчас вызовет к себе. «Ну что, — он спросит, — нагулялся? Забастовку по боку?» — За стеклами очков блеснут глаза самодовольно. Егор Андреич переступит с ноги на ногу, потупится и буркнет: «Ладно, извиняй».

Великодушно хмыкнет Фролыч, пальцем ткнет на дверь: «Ступай, да больше не чуди. И помни, что обязан». Егор Андреич кашляет, сгорая от стыда и унижения, направится к столярке.

Все будет так, как прежде. Надо потерпеть. А куда деваться?

Все будет так, но это будет завтра.

Сегодня же Егор Андреич собой весьма доволен.

Котеньку задрали



Павлин — единственный во всем микрорайоне действующий дворник из плеяды дворников позднего застоя. В неразберихе перемен, когда спонтанно распадались разные дружины, комиссии, домкомы, в этом блочном доме на окраине старинного областного города нашлись рассудочные головы: решили — что бы ни случилось, а в доме дворника держать, пусть даже и в складчину. Чтобы в подъездах чистоту и во дворе порядок соблюдал-поддерживал, шпане воли не давал. А поскольку посторонняя шпана окраинному дому и не досаждала, а свою, родимую, Павлин знал наперечет едва ли не с пеленок, то и особых затруднений по исполнению нехитрых дворницких обязанностей у него не возникало.

Квартиру старику перепоручил на охранение старший сын — нефтяник Николай. Он перевез Павлина в область после смерти матери. В трехкомнатных просторных апартаментах в то время барствовал последний Николай — студент пединститута. За ним был нужен глаз да глаз. Но год тому назад не поладивший с Павлином недоучившийся студент с молодой женой и дочкой неожиданно сорвался куда-то в Подмосковье, оставив деда одного. Николай задумал было пустить к Павлину квартирантов — лишний рубль ему теперь и на северах не помешал бы, — но отец стал поперек. Разобиделся, надулся. Не хотелось старику в обжитой квартире сына соседствовать с чужими, случайными людьми. Ни за какие деньги. Ну да это и понятно, объяснимо...

С Николаем мы давно и хорошо знакомы. Он и предложил мне, часто выезжающему в область, квартировать у старика. Предупредив, однако, что отец — старикан характерный, с соседями по лестничной площадке вроде уживается, но не накоротке, друзей, по крайней мере, не обрел, а с отъездом внука с правнучкой стал и попивать на кухне в одиночку.

С первых дней знакомства я отметил у Павлина странную привязанность к котяткам. Он в них души не чает. Он их подбирает летом и зимой, всюду и везде — в подвалах, подворотнях, на чердаках, в подъездах. То ли жильцы дома, визнавав старикивскую слабинку, подбрасывают именно ему новорожденных, порой еще слепых, беспомощных котят, то ли сами беспризорные котятка инстинктивно тянутся на его шаги и голос.

Зимой попала к старику едва не околевавшая в подъезде пестренькая кошечка. С неделю он ее отха-

живал свежим молоком и на ночь, как ребенка, укладывал в «постельку» — ондатровую шапку, подаренную сыном. К весне ухоженная кошечка стала стройной взрослой кошкой и неожиданно пропала. «Задрали Котеньку собаки!» — объяснил Павлин и вскоре обзавелся рыжим славным котиком с отгрызенным собаками хвостом. (Всем своим найденышам — кошкам и котам — Павлин дает одну и ту же кличку: Котя). Рыженького я чуть было не увез с собою в багаже. Утром второпях укладывал вещички, и рыжий «котя» незаметно забрался в мою сумку, а я задернул «молнию». Павлин хватился — «коти» след простыл. Вдвоем на четвереньках обследовали каждый уголок. И уже на выходе, на лестничной площадке, «котя» выдал себя голосом...

— А где мой «пассажир»? — вспомнив «котю»-рыжего, спросил я летом у Павлина.

— Рыженький? Да как его, пропал! — ответил Павлин без тени сожаления. — Ушел наш Котя погулять, ушел и не вернулся... Собаки Котеньку задрали!

По вечерам Павлин ходил на рынок и приносил оттуда кулечки и пакетики со свежей мясной обрезью. Ею он кормил своего последнего найденыша — беленькую кошечку.

— Собаки, паразиты, Котеньку задрали! Задра-али Котю нашего! — бережно, любовно, как ребенка, он брал в свои ладони белую мурлыкающую кошечку, подносил к губам, чмокал ее в умную, влажную мордашку и ворковал, и приговаривал, блестя по-детски добрыми, нежными глазами. — Задра-али Котю нашего! Задра-али Котю бедного!

Как-то осенью, под вечер, я вынес из квартиры мусорное ведро. Опорожнил в установленный в углу двора контейнер. И вдруг в углу контейнера, на куче мусора и хлама, увидел «котю» — рыжего, огромного, грязного кота. Всклокоченная шерсть была сплошь в помоях и репьях. «Котя», хищно выгнув спину, несколько мгновений испытывал меня тяжелым, диким взглядом. Из оскала вырвался истошный хриплый вопль. Качнув хвостом-огрызком, он вытянулся в струнку, соскочил с контейнера и исчез в крапиве... И тут же, словно по сигналу, из зарослей крапивы, лопуха, чертополоха через пролом в заборе в бурьян на пустыре кинулась огромная, страшная своей сплоченностью и мощностью, худьбой и дикостью, возвращенная Павлином разношерстная стремительная стая.

Единица экономии



Если вам случайно доведется завернуть к Ефимову в сторожку, что на замороженном строительстве в двух шагах от гастронома, в котором, к месту будет сказано, вновь «Ркацители» по утрам, пройдите без излишних церемоний к квадратному столу, сдуйте пыль и пепел, располагайтесь на скамье. И пусть вас не смущает отсутствующий вид печального Ефимова, лежащего на низком топчане глазами к потолку. Ефимов отдыхает. Через его сторожку проходит за день столько человек, что к вечеру Ефимов уже не реагирует на оклики, приветствия и ваши разговоры. Тихо посидите и тихо разойдитесь. Посудину — под стол, туда, где батарея. Вечером Ефимова лучше не будить — пусть чуточку поспит, он как-никак на службе...

Утром же Ефимов беспокойно бодр, его большие умные глаза блестят надеждой и желанием. Располагайтесь на скамье, курите, здесь все можно. Ефимов утром пост не покидает, он круглосуточно в сторожке, дежурит за троих, что выгодно ему (к окладу плюс оклад, и крыша есть над головой) и его конторе (ровно единица чистой экономии). По стенам, на гвоздях — имущество Ефимова: демисезонное пальто (зимою служит одеялом), скукоженная шапка, брюки выходные и темно-синяя рубашка с бордовым галстуком на вороте. На фанерном ящике слева от стола — кастрюли и тарелки, электрочайник, кружка... Хвойный дух кедровых лап, подоткнутых на потолке и стенах, не «убивает» устоявшийся запах перегара, поэтому пусть дверь будет приоткрытой...

Если вы из гастронома и нужна посуда, на ваш немой вопрос Ефимов так же молча кивнет на телевизор, что перед вами на столе и на котором строго в ряд — коробка домино, колода карт и раздвижной пластмассовый стаканчик. Если, выпив из дежурного стаканчика, вы поднесете и Ефимову, причем не по остаточному, как говорится, принципу, а как равный равному, по кругу, Ефимов тотчас вспомнит, что где-то у него завалилась рыбина. Он принесет вам рыбину несвежего засола и полбуханки хлеба. Затем предложит чай. От чая в закопченной поллитровой кружке лучше откажитесь, ибо вы не знаете, что такое чай ефимовской заварки, связывающий сразу не только полость рта, но внутренности тоже. А закурить с ним — закурите. Ефимов любит угостить, когда имеются свои. Закурив с Ефимовым, можете

расслабиться... Не вздумайте спросить о жите-бы-
тье, как он докатился до бездомной старости. Не лезь-
те в душу человеку. Он этого не любит. И — не увле-
кайтесь. Не бейте себя в грудь — вы не пуп земли.
Болтайте, разговаривайте, спорьте... Хоть до хрипо-
ты. Но не забудьте о Ефимове. Он, сидя за столом,
должен быть уверен, что и с ним считаются. Да, и он
— не пуп земли, но не пустое место. Если разговор
зайдет о «Спартаке» — станет ли команда чемпио-
ном, сменится ли тренер, — взгляните на Ефимова.
Ефимов промолчит. Если о работе — поднимут ли
расценки, повысят ли оклады, сдадут ли в срок
объект, — он пожмет плечами. Не важно, что он
промолчит и пожмет плечами, важно то, что он — в
кругу, участник разговора...

Но вы, начав о футболе, перескочили на поли-
тику, прошлись по экономике, заспорили о рынке
и — кто вам виноват? — скатились до разборки
семейных дразг и ссор. Вы разошлись и расходи-
лись! И что вам до Ефимова с его свекольным но-
сом и умными глазами! Да что он понимает в высо-
ких-то материях! Да вы в упор не видите Ефимова!
Вы совершаете ошибку, которой вам Ефимов не про-
стит. Ему плевать на экономику, политику и ры-
нок. Плевать не вашу «кобру с характером вампи-
ра», как вы изволили назвать свою жену. На «коб-
ру» и на вас. Но он вам не простит пренебрежения
к себе...

— Вот вы, товарищ мой любезный, — произнесет
раздумчиво Ефимов, — сейчас назвали бабу «коброй».
А знаете ли вы, что такое кобра?

И зря вы рассмеетесь. Ефимов не позволит.

— Вы ни хрена не знаете, товарищ мой любезный! Кобра, между прочим, первой не бросается. Кобра заявляет о своем присутствии позой и шипением. Она шипит, когда грозит опасность. Достоверных случаев укуса коброй человека, да будет вам известно, чрезвычайно мало. Вот вы и подумайте, от кого грозит опасность вашей жене-кобре...

Вы, конечно, обалдеете.

— Справка номер два, — произнесет Ефимов торжественно-печально, загибая палец на руке. — Вы изволили сказать — «с характером вампира». А знаете ли вы, товарищ мой любезный, что характер есть печать? Совокупность, так сказать, особенностей личности. Но совокупность складывалась в общении с вами. Вы сами таким образом воспитали кобру.

Напрасно вы в упор не видели Ефимова. Он будет продолжать и дальше в таком духе, но тут вы вдруг спохватитесь, что пора идти, пора закругляться. Вы попрощаетесь с Ефимовым, отблагодарите за прием — за рыбину и чай, которого не пили, и, уходя, не сдержите восторга:

— Ну и даешь, сторожевой! Не голова, а справочник. Откуда нахватался?

Оставшись в одиночестве, Ефимов усмехнется и ляжет на топчан. С минуту полежит глазами к потолку, достанет календарь из-под подушки. Настенный женский календарь за текущий год. Послюнив толстый палец, раскроет на листке с сегодняшним числом. Прошепчет по слогам текст на обороте:

— По-го-во-рим о вос-пи-та-нии...

Прошепчет раз, другой и третий... Захлопнет календарь, прошепчет наизусть и снова усмехнется. А потом уснет. И пусть пока поспит. А вы пройдите без излишних церемоний к квадратному столу, смахните рыбы кости, располагайтесь на скамье...

Возмездие

или Версия жизни и смерти трагикомедия
из города Березова Коровьи-Ножки



Первым импульсом к данной работе явилась краткая информация «О герое революции Троцком и гражданине из города Березова по фамилии Коровьи-Ножки», появившаяся в седьмом номере за 1993 год окружного историко-культурного журнала «Югра», в котором я в ту пору работал ответственным секретарем. Информацию «раскопал» и прислал в редакцию тобольский писатель и краевед Юрий Надточий. А сообщалось в ней о том, что некто Коровьи-Ножки дважды — в 1910-м и 1919 годах — подвергался арестам только за то, что в 1907-м принял участие в организации побега из Березова следовавшего в обдорскую ссылку «будущего вождя всех революционных вооруженных сил большевистской власти» Льва Давидовича Бронштейна-Троцкого.

Любопытная информация, и вполне объясним интерес автора: «Что же стало с ним (Коровьи-Ножки) в еще более «свободные» времена, после того, как товарища Бронштейна оттеснил от власти товарищ Джугашвили?»

Во всей этой истории меня в первую очередь интересовали подробности события. Где, когда, при каких обстоятельствах произошли встреча и знакомство «маленького» человека со смешной фамилией с будущим председателем Реввоенсовета Республики? Почему Бронштейну-Троцкому захотел и смог помочь именно Коровьи-Ножки? Неужели и впрямь из-за «привязанности к борцу за свободу»? И, наконец, едва ли

не главное — кто же он на самом деле, этот загадочный березовский гражданин? Как в дальнейшем сложилась его судьба?

Однако публикация, поначалу вызвавшая острый интерес, вскоре отошла на задний план: я на полгода прерывал работу в журнале, а когда вернулся, во втором номере за 1994 год обнаружил заметку краеведа Юрия Сазонова «Еще раз о герое революции Троцком и гражданине из города Березова по фамилии Коровьи-Ножки». Краевед Сазонов отвечал коллеге Надточию:

«На Ваш вопрос, что стало с другом революционеров Кузьмой Илларионовичем Коровиным (Коровьи-Ножки) во времена правления товарища Джугашвили, могу ответить: не дожил он до этого времени...».

Точка, поставленная краеведами, явилась теперь уже не просто импульсом, а хорошим толчком к началу поиска документов, проливающих дополнительный свет на малоизвестный и, в общем-то, малозначительный эпизод нашей не столь уж и давней истории...

Почетный гражданин города Ханты-Мансийска, в прошлом директор, а ныне учитель истории средней школы № 1 Юрий Георгиевич Сазонов ознакомил меня с имеющимися в школьном музее документами, в основном с пространными письмами из Томска сына «березовского гражданина» Николая Кузьмича Коровина, датированными 1978 годом.

Пришлось прочесть массу литературы о Троцком, о гражданской войне на Обском Севере, трудов самого Троцкого. И чем глубже я вникал в эту историю, тем тверже становилось убеждение, что в лице Кузьмы Илларионовича Коровьи-Ножки (Коровина) имею дело вовсе не с «революционером по убеждениям», а с глубоко не-

счастливым, обманутым, запутавшимся в сложных обстоятельствах непростого времени «маленьким человеком», ставшим в конечном итоге «заложником» навязанного ему, выражаясь на новоязе, «имиджа» большевика.

А для иногороднего читателя нелишне будет пояснить, что Березов — это бывший уездный город Тобольской губернии (ныне районный поселок в Ханты-Мансийском автономном округе), основанный воеводой Никифором Траханиотовым в 1593 году, едва ли не с года основания ставший традиционным местом ссылки. В разные «самодержавные» времена здесь получили временную, а то и пожизненную «прописку» боярин Дмитрий Ромодановский, светлейший князь Александр Меншиков, князья Долгоруковы, граф Андрей Остерман, декабристы И.В. Друцкий-Горский, А.В. Ентальцев, И.Ф. Фохт, А.И. Черкасов, польские повстанцы... Да и в советские времена березовская ссылка была сохранена как «мера социальной защиты» от политической оппозиции и инакомыслящей интеллигенции.

1. *Голлицы да не той?*

«Дед наш в то время носил фамилию Галицин...»
(Из письма Н.К. Коровина от 12.04.78)

Краевед Юрий Сазонов со ссылками на письма Николая Кузьмича Коровина информировал читателей о том, что, в частности, отец нашего героя, Илларион, жил в Гомеле Могилевской губернии, и что фамилия его была *Голлицин* (здесь и далее по тексту в написании фамилий сохранена авторская орфография), и что в 1863 году за участие в польском восстании он был приговорен к смертной казни через повешение, но позднее казнь была заменена ссылкой. В 1871 году вместе с отцом — Илларионом *Голлицыным* — мальчиком прибыл в Березов и Кузьма Илларионович. Однако фамилия их была уже не *Голлицыны*, а вымышленная — *Коровины-Ножкины*, которая впоследствии трансформировалась в *Коровьи-Ножки*. А это, предполагает Юрий Сазонов, скорее всего, прозвище или конспиративная фамилия революционера. Под этой фамилией семья проживала в Березове до 1918 года.

Однако, внимательно изучив подлинники всех четырех писем Николая Кузьмича, я обнаружил несколько существенных, любопытных несоответствий текстов их вольной трактовке и толкованию Юрием Сазоновым и ряд скрытых противоречий, содержащихся в письмах самого Николая Кузьмича.

Так, в письме от 12 апреля Николай Кузьмич сообщил, что его дед Илларион до участия в польском восстании носил фамилию *Галицин*, но уже через полгода, в письме от 20 октября, словно вдруг спохватив-

шись, делает оговорку: о том, что дед носил фамилию *Галицин*, он узнал, уже будучи в Березове, из случайно подслушанного разговора отца с дядей Илларионом Илларионовичем. То есть некоторая доля сомнения в поправке угадывается. А может, и не сомнения вовсе, а запоздалое решение сей факт биографии особо не выпячивать. Согласитесь, в 1978 году еще не было принято кичиться принадлежностью к известным на Руси княжеским фамилиям, тем более потомкам революционеров. Как ни крути, а фамилия-то классово чуждая. Да и документов, подтверждающих «родную» фамилию, ни у Кузьмы Илларионовича, ни, тем более, у Николая Кузьмича и трех его сестер не было и быть не могло по причинам, речь о которых впереди...

Но если принять на веру, что подлинная фамилия Иллариона и прибывшего с ним мальчика Кузьмы — *Голицыны* (а у меня нет оснований подвергать сей факт сомнению), то возникает естественный вопрос: а не является ли семья одной из многочисленных ветвей могучего генеалогического древа знаменитой в дореволюционной России дворянской фамилии? Почему Кузьма Илларионович скрывал родную фамилию даже от своих детей? Да и Николай Кузьмич ни в одном из писем ни разу не обмолвился, к какому социальному слою принадлежал его «революционный» дед. Случайно ли? А ведь знал, хотя бы из тех же разговоров отца с дядей. К тому же принадлежность если уж не к рабочему классу, то к городскому ремесленничеству, к крепостному или государственному крестьянству на «заре КПСС» очень даже поощрялась. Не кроется ли за странным умолчанием некая фамильная тайна, разгадать которую за давностью лет нам, увы, непросто!

Обратимся за консультацией к авторитетному советскому специалисту по ономастике В.А. Никонову, утверждавшему, что настоящие фамилии у русских сформировались только с XVI века, а внедрение их в России в XVI—XVII вв. стимулировано укреплением нового социального слоя, становящегося правящим — помещичьего; что на рубеже XVII—XVIII вв., когда дворянство уже господствовало и экономически, и политически, Петр I смог потребовать фамилии от всех дворян; что фамилии у горожан можно было встретить уже в середине XVI века, но и в середине XIX немало еще было бесфамильных горожан; что, наконец, если на Севере, где не было крепостного права, фамилии появились еще в XVII веке, то у крепостных крестьян — только после реформы 1861 года...

Если «отсечь» «северное» происхождение нашего героя, то остается одно из трех: либо он — потомок одного из князей Голицыных, либо выходец из городских ремесленников, либо из «южных» крепостных крестьян, офамиленных в годы отмены крепостного права в 1861—1862 гг., когда, как известно, бывшие крепостные, ходившие под Голицыными, становились в большинстве своем *Голицыными*. Предположим, что в нашем случае имеет место быть последнее (но почему опять-таки умалчивать об этом?). Освобожденный высочайшим указом и офамиленный бывший крепостной Илларион оказался на заработках в Гомеле, «снюхался» с тамошними революционерами и до такой степени увлекся революционной борьбой, что «вляпался» в польское восстание 1863 года, жестоко подавленное Александром II, и не только «вляпался», а, судя по вынесенному ему смертному приговору, сыграл в нем не последнюю роль. Не слишком

ли быстрое превращение вчерашнего крестьянина в профессионального революционера?

Есть повод для интересных предположений!

2. Повстанец или уголовник?

«Избежать казни помогли друзья деда, присвоив ему фамилию убитого при переходе польско-русской границы проводника...»

(Из письма Н.К. Коровина от 12.04.78).

Второй важный момент, которому Юрий Сазонов не придал значения. А зря. Ибо в письме Николая Кузьмича сообщается: «Дед после подавления польского восстания скрывался и заочно царским правительством был приговорен к смертной казни через повешение... Избежать казни помогли друзья деда, присвоив ему (обратите внимание!) фамилию убитого при переходе польско-русской границы проводника... За переход границы дед был осужден на вечное поселение в Сибирь, то есть в Березов, под фамилией Коровьи-Ножки».

Что из этого следует? Во-первых, смертная казнь за участие в польском восстании не заменена ссылкой — приговор остался в силе. Во-вторых, новая фамилия Иллариона была не вымышленной, равно как и не «присвоенной друзьями», а, мягко выражаясь, украденной. Скрываясь от наказания за участие в восстании, Илларион Голицын пересек польско-русскую границу с помощью проводника... «убитого при переходе»? Как это понимать? Кем убитого? С какой целью убитого? Не самим ли Илларионом или кем-то из его друзей? Ведь документы убитого проводника по фамилии Коровьи-Ножки оказались именно у Иллариона...

Вопросы, вопросы... И ни на один нет четкого, ясного ответа. А ссылку в Сибирь Илларион, теперь уже не Голицын, а Коровьи-Ножки, «схлопотал» за незаконный переход границы, избежав, выходит, наказания и за участие в восстании, и за возможное убийство проводника...

Правда, в письме от 20 октября Николай Кузьмич, опять-таки словно вдруг спохватившись, неуклюже затушевывает свое первое «признание»: «Замешан он (дед) был в польском восстании и за это приговорен к смертной казни через повешение. Но его друзьям удалось запутать следы, и он отделался ссылкой в Сибирь».

Вот уж действительно — легко отделался!

Сдается мне, что получил Березов в 1871 году в лице Иллариона Коровьи-Ножки не революционера-повстанца и даже не столько обычного нарушителя границы, сколько серьезного уголовника. Возможно, эта же страшная догадка и не позволила краеведу Юрию Сазонову «заметить» странный факт из биографии отца нашего героя, ибо он ну никак не укладывается в версию о семье «потомственных» революционеров.

И еще одно немаловажное дополнение. Как известно, в конце XVIII—начале XIX вв. участники польских восстаний прошли через Сибирь, в том числе и через Березов, тремя волнами: в 1795 году после подавления восстания Т. Костюшко (через год взошедший на престол Павел I освободил их); в 1832 году — после подавления восстания 1831 года (но и этих вскоре отправили на Байкал); и, наконец, в 1863—1864 гг. По данным историка И.В. Щеглова, «в 1866 году число ссыльных поляков в Сибири возросло до 18000 душ обоего пола». Но «вследствие Высочайшего манифеста 15 мая

1883 года большая часть из них возвратилась на родину». Однако же Илларион Коровьи-Ножки не воспользовался дарованной свободой. Что-то же удерживало его в глухом березовском захолустье от возвращения на родину. Не страх ли разоблачения?

Он прочно обосновался в Березове. Нам неизвестно, что стало с его первой женой — матерью Кузьмы Илларионовича. Осталась ли она на Могилевщине, махнув рукой на запутавшегося в «революционных делишках» супруга и «пожертвовав» ему сына? Умерла ли еще до бегства мужа? Или как верная жена, следовавшая за любимым мужем в Сибирь, не вынесла тягот и лишений, заболела, умерла где-нибудь в дороге? Ни в одном из своих писем Николай Кузьмич не прояснил судьбу родной бабушки.

А Илларион Коровьи-Ножки в Березове женился. Здесь родились его младший сын Илларион Илларионович и дочери. По свидетельству Николая Кузьмича, «он и в ссылке остался верен своим революционным идеалам. Помогал ссыльным, чем мог, вплоть до организации побегов. Это свойство он передал и своему сыну Кузьме, то есть нашему отцу...».

Передал, значит. Как эстафету.

3. Накануне

«Жили бедно. Лето для нас было матерью,
зима — мачехой»

(Из письма Н.К. Коровина от 10.06.78)

О жизни Кузьмы Илларионовича в Березове до февраля 1907 года, к сожалению, мало известно. Известно лишь, что здесь он женился, в 1897 году родилась

первая дочь Анна, в 1900-м — первый сын Александр. Затем — в 1903-м и 1904 г. — дочь Евдокия и младший сын — Николай (наш Николай Кузьмич). Таким образом, можно утверждать, что по крайней мере, до 1907 года — поворотного в его судьбе, Кузьма Илларионович, отец четверых малолетних детей, ни о какой революционной деятельности и не помышлял. Дай Бог семью прокормить, детей обушь-одеть, дом и хозяйство в порядке удержать. А жил Кузьма Илларионович если и не в отчаянной нужде, то явно не в достатке, хотя рубаха зимой и летом круглосуточно от пота не просыхала, а с ладоней не сходили мозольные подушки.

Промышленных предприятий в Березове не было, побочных заработков — тоже. Приходилось рыбачить, охотиться, шишковать, бруснику-клюкву брать. И, само собой, скотину держать. Корова и лошадь для семьи были первой необходимостью, и работы по хозяйству в любое время года хватало. Травы накосить, сена привезти, воды из речки каждодневно для семьи и скотины наносить, дров заготовить да по снегу вывезти, стайку от навоза, двор от снега, которого в иную зиму выше крыш наметало, очистить, ловушки на зверя, сети, морды на рыбу выставить да починить... Мало ли забот у мужика!

В городке местные жители знали друг друга. Ссылных тоже знали, сочувствовали, помогали им, чем могли... О чем, собственно, и свидетельствовал Троцкий в своей книге «Туда и обратно», представляющей собой дневниковые, или, точнее, путевые записки о пути следования в ссылку и побеге оттуда: *«Отношение крестьян к политическим превосходное.*

Так, например, здесь, в Самарове (ныне — город Ханты-Мансийск — Н.К.) — огромное торговое село — крестьяне отвели «политикам» бесплатно целый дом и подарили первым приехавшим сюда ссыльным теленка и два куля муки. Лавки, по установившейся традиции, уступают политическим продукты дешевле, чем крестьянам. Часть здешних ссыльных живет коммунально в своем доме, на котором всегда развешивается красное знамя».

...Скорее всего, немудреную крестьянскую работу выполнял сорокасемилетний Кузьма Илларионович Коровьи-Ножки вечером 11 февраля 1907 года, когда в сгустившихся сумерках въехал в город один из самых известных в XX веке в Березове политических ссыльных Бронштейн-Троцкий...

А утром 12 февраля Лев Давидович сделает в своем дорожном дневнике следующую запись:

«...Вчера вечером мы приехали в Березов. Вы не требуете, конечно, чтоб я вам описывал «город». Он похож на Верхолениск, на Кирениск и на множество других городов, в коих имеются около тысячи жителей, исправник и казначейство. Впрочем, здесь показывают еще — без ручательства за достоверность — могилу Остермана и место, где похоронен Меншиков. Неприсяжные остяки показывают еще старуху, у которой Меншиков столовался...

Привезли нас непосредственно в тюрьму. У входа стоял весь местный гарнизон, человек пятьдесят, шпалерами. Как оказывается, тюрьму к нашему приезду чистили и мыли две недели, освободив ее предварительно от арестантов. В одной из камер мы нашли большой стол, накрытый скатертью, венские стулья,

ломберный столик, два подсвечника со свечками и семейную лампу. Почти трогательно!

Здесь отдохнем два дня, а затем тронемся

Да, дальше... но я еще не решил для себя — в какую сторону...».

Внесем кое-какие уточнения и дополнения.

Когда члены Совета шли на поселение, тобольский губернатор Гондатти уведомил березовского исправника Евсеева, служившего в должности с октября 1904 года, о скором прибытии важных политических, которых ему надлежало отправить в Обдорск (ныне — город Салехард, окружной центр Ямало-Ненецкого автономного округа). Причем предлагал принять самые строгие меры охраны. Но когда узнал, что вслед за политическими едут их семьи, то, вероятно, расслабился и даже попросил Евсеева задержать отправку ссыльных до приезда семей в Березов.

Трудности для Евсеева заключались в том, что в распоряжении начальника местной воинской команды, было всего 30 конвойных, у самого же Евсеева — четверо городских на весь Березов, где в это время и без того насчитывалось до 30 человек ссыльных.

Вновь прибывшие содержались в тюрьме, но обедать ходили в чайную и столовую общества трезвости в сопровождении немногочисленной охраны...

Прежде чем вернуться к рассказу самого Троцкого о побеге, сделаем необходимое здесь примечание. Выше был приведен отрывок из книги «Туда и обратно», написанной и опубликованной по горячим следам событий в том же 1907 году. В ней все последующие части побега изложены в несколько измененном виде, поскольку излагать в то время так, как было на самом

деле, называя соучастников и организаторов побега подлинными именами, значило бы слишком откровенно их предать.

Но в книге «Моя жизнь», изданной в Берлине в 1930 году, Троцкий рассказал о побеге без утайки подлинных имен, надеясь, что «Сталин не станет их преследовать, тем более что преступлению давно уже истекли все сроки. К тому же на последнем этапе побега помощь мне оказал и Ленин...».

Как же он заблуждался! Теперь-то мы знаем, что стало с теми, с «истекшими сроками давности», людьми, будь они живы во времена решительного искоренения троцкизма в Советском Союзе!

Чтобы не отсылать читателя к труднодоступной даже в наши книжнообильные времена книге Троцкого «Моя жизнь», в следующей главе приведу из нее с несущественными сокращениями рассказ о побеге, прибегая там, где это необходимо, к помощи кратких комментариев и примечаний.

4. Как это было

«Отец наш слыл другом политических ссыльных и неоднократно оказывал им важные услуги»

(Из письма Н.К. Коровина от 18.04.78)

«...В Березове нам дали остановку на два дня. Предстояло еще совершить около 500 верст до Обдорска. Мы гуляли на свободе. Побег отсюда власти не боялись».

(Теперь-то мы знаем, что все-таки побаивались, да сил на серьезную охрану не доставало).

«Назад была одна-единственная дорога по Оби, вдоль телеграфной линии: всякий бежавший был бы достигнут. В Березове жил в ссылке землемер Рошковский...».

(Политический ссыльный Ф.Н. Рошковский — поручик запаса, один из организаторов и руководителей созданной в октябре 1905 года в Тобольске общественно-политической организации «Тобольский союз гражданской свободы». Члены союза добивались свободы совести, слова, собраний, всеобщего представительства, неприкосновенности личности и т.д. В декабре 1905 года в связи с объявлением военного положения в южных уездах Тобольской губернии деятельность союза была запрещена, руководители арестованы, Рошковский сослан в Березов).

«С ним я обсуждал вопрос о побеге. Он сказал мне, что можно попытаться взять путь прямо на запад, по реке Сосьве, в сторону Урала, проехать на оленях до горных заводов, попасть у Богословского завода на узкоколейную железную дорогу и доехать по ней до Кушвы, где она смыкается с пермской линией. А там — Пермь, Вятка, Вологда, Петербург, Гельсингфорс!..

Доктор Фейт, старый революционер, один из нашей ссыльной группы, научил меня симулировать ишиас, чтобы остаться на несколько лишних дней в Березове. Я с успехом выполнил эту скромную часть задуманного плана. Ишиас, как известно, не поддается проверке».

(Не исключено, что на самом деле в Березове с Троцким случился эпилептический припадок, так что и симулировать-то ничего не пришлось. По воспоминаниям профессора Г.А. Зива, арестованного в 1898 году по делу

Южно-Русского рабочего союза и находившегося с Bronштейном около двух лет в одесской тюрьме, арестанты впервые заметили происшедший с ним припадок эпилептического характера. Такие припадки с Троцким происходили и впоследствии. Об одном из них, происшедшем в ночь с 24-го на 25 октября 1917 года, то есть в ходе Октябрьской революции, Троцким рассказано и в цитируемой книге. Однако данное замечание в дальнейшем рассказе Троцкого ничего не меняет и не опровергает).

«Меня поместили в больницу. Режим в ней был совершенно свободный. Я уходил на целые часы, когда мне становилось «легче». Врач поощрял мои прогулки. Никто, как сказано, побега из Березова в это время года не опасался. Надо было решиться. Я высказался за западное направление: напрямик к Уралу.

Рошковский привлек к совету местного крестьянина по прозвищу Козья Ножка...».

(Читателям книг Троцкого «Туда и обратно», «1905» нелишне будет знать, что там Кузьма Илларионович Коровьи-Ножки выведен «молодым либеральным купцом Никитой Серапионовичем». Здесь же автору явно изменила память: вместо слов «по прозвищу Козья Ножка» следует читать: «по фамилии Коровьи-Ножки»).

«Этот маленький, сухой, рассудительный человек стал организатором побега. Он действовал совершенно бескорыстно. Когда его роль вскрылась, он жестоко пострадал...»

Ехать из Березова надо было на оленях. Все дело было в том, чтобы найти проводника, который рискнул бы в это время года тронуться в ненадежный путь. Козья Ножка нашел зырянина, ловкого и бывалого, как большинство зырян...».

(В книгах «Туда и обратно», «1905» — «Никифор», «Никифор Иванович». Установить подлинное имя, к сожалению, не удалось).

«— А он не пьяница?» — «Как не пьяница! Пьяница лютей. Зато свободно говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях: верховом и низовом, почти не схожих между собой. Другого такого ямщика не найти: пройдоша». — Вот этот-то пройдоха и предал впоследствии Козью Ножку. Но меня он вывез с успехом».

(Если «пройдоха» и «предал впоследствии» Кузьму Илларионовича, то уж наверняка не раньше, чем сам Лев Давидович «предал пройдоху». К этому замечанию мы еще вернемся).

«Отъезд был назначен на воскресенье, в полночь. В этот день местные власти ставили любительский спектакль. Я показался в казарме, служившей театром, и, встретившись там с исправником, сказал ему, что чувствую себя гораздо лучше и могу в ближайшее время отправиться в Обдорск. Это было очень коварно, но совершенно необходимо».

Когда на колокольне ударило 12, я крадучись отправился на двор к Козьей Ножке. Дровни были готовы. Я улегся на дно, подослав вторую шубу. Козья Ножка покрыл меня холодной, мерзлой соломой, перевязал ее накрест, и мы тронулись. Солома таяла, и холодные струйки сползали по лицу. Отъехав несколько верст, мы остановились. Козья Ножка развязал воз. Я выбрался из-под соломы. Мой возница свистнул. В ответ раздались голоса, увы, нетрезвые. Зырянин был пьян, к тому же приехал с приятелями. Это было плохое начало. Но выбора не было. Я пересел на легкие нарты со своим небольшим багажом. На мне были две

шубы, мехом внутрь и мехом наружу, меховые чулки и меховые сапоги, двойного меха шапка и такие же рукавицы — словом, полное зимнее обмундирование остряка. В багаже у меня было несколько бутылок спирта, т.е. наиболее надежного эквивалента в снежной пустыне.

«С пожарной каланчи Березова, — рассказывает Сверчков в своих воспоминаниях, — было видно кругом по крайней мере на версту всякое движение по белой пелене снега в город или из города. Основательно предполагая, что полиция станет расспрашивать дежурного пожарного о том, не уехал ли кто-нибудь из города в эту ночь, Рошковский устроил так, что один из жителей повез в это время по Тобольскому тракту тушу телятины. Движение это, как и ожидали, было замечено, и полиция, обнаружив через два дня побег Троцкого, прежде всего бросилась за «телятиной», вследствие чего потеряла еще два дня бесполезно...».

Зырянин доставил беглеца на Богословский горный завод. А оттуда, как и замышлялось, Троцкий добрался до Петербурга, из Петербурга — в Финляндию, где «завоеванные революцией свободы держались значительно дольше» и где в это время скрывался Ленин. Он и дал Троцкому адреса в Гельсингфорсе. Тамошние друзья Ленина помогли устроиться в Огльбю, под Гельсингфорсом, где Лев Давидович прожил несколько недель с женой Натальей Седовой и маленьким сыном, родившимся во время его заточения. Там же, в уединении, он написал и издал свою книгу «Туда и обратно», а на полученный гонорар выехал через Стокгольм в новую эмиграцию, продлившуюся ни много ни мало 10 лет.

5. Первый арест

«За дружбу с революционерами
отец платился тюрьмами»

(Из письма Н.К. Коровина от 12.04.78)

Через два с половиной года, летом 1910-го, Кузьму Илларионовича арестуют.

И вот здесь можно вернуться к утверждению Троцкого о предательстве зырянина. Спросим себя: с чего бы Никифору, спустя два с лишним года после благополучного исхода дела, донести на Кузьму Илларионовича? С ним они были, надо полагать, в доверительных отношениях. Ведь не к кому-нибудь, а именно к «пройдоше» обратился Коровьи-Ножки за помощью. Причем вовсе небескорыстный зырянин получил от Бронштейна-Троцкого в качестве вознаграждения за оказанную услугу тройку ездовых оленей, кошевку, пятьдесят рублей деньгами плюс, как и было дополнительно обусловлено в пути, полушубок, «который лучше всякого гуся». Словом, не продешевил. Это как же ему надо было обидеться на бывшего «подельника», чтобы донести, рискуя самому быть схваченным. Хоть и простоват был зырянин, но ведь не ребенок: прекрасно понимал, что арест одного из соучастников непременно повлечет за собой череду арестов. В его ли интересах? Вряд ли.

В 1910 году Кузьму Илларионовича наверняка «предал» сам виновник события — Лев Давидович Бронштейн-Троцкий. И вот как это могло случиться. Книга «Туда и обратно», изданная в 1907 году, спустя какое-то время «дошла» до Петербурга, оттуда —

до Тобольска и Березова. А в городе с населением немногим более тысячи человек полиции не составило особого труда «вычислить» колоритного «зырянина-пройдоху», «пьяницу отчаянного», который «в верстах сорока от города в юртах живет», у которого «две головы» и который «на все пойдет» и непременно вывезет, «если не запьет»... Полиция без труда вычислила Никифора, припугнула его как следует, пообещав снисхождение за чистосердечное признание и раскаяние. «Пройдоша» и признался, и раскаялся, а куда было деваться? Так что упрекнуть его можно в слабости характера, но не в злонамеренном предательстве. Да и появившаяся в феврале 1919 года в газете «Тобольское народное слово» заметка косвенно подтверждает это предположение:

«Как известно, товарищ Троцкий удачно бежал за границу вскоре по прибытии в Березов благодаря гуманному отношению местной администрации и содействию таких бескорыстных местных людей, как гражданин Коровьи-Ножки, привыкших относиться с каким-то благоговением к деятелям революции. По прибытии в безопасное место Троцкий печатно подробно рассказал о своем генеральском путешествии, очень прозрачно описав лиц, содействовавших побегу (подчеркнуто мной — Н.К.). Так Коровьи-Ножки оказался в тюрьме при царской власти».

Прежде чем приступить в Гельсингфорсе к сочинению своих — надо воздать должное — увлекательных записок, Лев Давидович, как видно, хорошо продумал план обеспечения личной безопасности, но не очень хорошо подумал о последствиях издания своего труда для березовских «друзей». Впрочем, кто из по-

литиков прошлого и нынешнего дня, думая о благе абстрактного народа, позаботился о судьбе конкретного живого человека? Так было и так есть, и, очевидно, так и будет...

К сожалению, не удалось разыскать следственное дело, из которого было бы видно, каким образом безотказный Коровьи-Ножки выкручивался из затруднительного положения. На суде его защищал известный в Тобольске адвокат В.Н. Пигнатти. (Интереснейшая личность! Член Трудовой народно-социалистической партии, юрист по образованию. В 1899 году выслан из Москвы в Тобольск под негласный надзор полиции. Здесь занимался адвокатской практикой, сотрудничал с губернским музеем, произвел первые раскопки на месте Кашлыка (Искера), являвшегося в XVI веке столицей Сибирского ханства). Он и способствовал смягчению участи своего подзащитного. Учитывая, что на иждивении у Кузьмы Илларионовича было четверо детей в возрасте от трех до десяти лет, суд приговорил его к «возможно легкому наказанию».

А 2 июля 1910 года в Тобольске выездной сессией Омской судебной палаты разбиралось дело по обвинению бывшего исправника Евсеева в «бездействии власти». (Вскоре после побега Бронштейна-Троцкого Иринарха Владимировича Евсеева освободили от занимаемой должности и назначили архивариусом Тобольского окружного суда. Летом 1908 года он участвовал в экспедиции А.А. Дунина-Горкавича по исследованию низовьев Оби). Палата и ему вынесла оправдательный вердикт.

6. Сму́та

«Мы были далеки от революционных бурь...»
(Из письма Н.К. Коровина от 10.06.78)

Вскоре Кузьма Илларионович оправился от нештучного испуга, и жизнь мало-помалу вошла в привычное русло. Он по-прежнему не покладая рук, в поте лица своего добывал хлеб насущный для большой семьи. В молодости в совершенстве овладев печным ремеслом, прирабатывал в городке выкладкой и ремонтом печей.

Война с немцем, начавшаяся в 1914 году, грозовой тучей висела в стороне, но уже коснулась своим черным крылом нескольких березовских семей, отдавших фронту сыновей и мужей. Политические же события, погромывавшие в Петербурге, его, по крайней мере до семнадцатого года, мало интересовали. Да и разговоров с кем бы то ни было, а в особенности со ссыльными, в потускневших было глазах которых заискрилась надежда на скорые перемены, он старательно избегал. После освобождения Евсеева от должности исправника Кузьма Илларионович, как человек совестливый, испытывал мучительное чувство вины перед незлобивым по натуре, с мягким сердцем человеком, а взамен назначенный на должность Ямзин поглядывал искоса, исподлобья. Не доверял, стало быть. (Лев Никифорович Ямзин в 1908 году из Обдорска был переведен в Березов помощником исправника, а в 1910—1917 гг. служил березовским уездным исправником).

В 1913 году жена осчастливила Кузьму Илларионовича поздним, пятым в семье, ребенком — дочерью

Наташей. Тут уж не до политики, только успевай крутись! Всех пятерых обушь-одеть-накормить-напоить, в школу собрать-отправить надо исхитриться. Ладно, Александр с Николаем подросли, дома по хозяйству помогать стали: и сена корове бросят, и лошадь вычистят, напоят, в стойле и в стайке уберут, и навоз на огород вывезут... Александр ростом вышел, цепкий, ловкий — в мать! А Колька — в батю: коротышка, юркий, быстрый, как щуренок! Возле брата неотступно крутится, подражает старшему. Вся надежда на детей!

Пятидесятитрехлетний отец большого семейства собирался жить долго и основательно, если уж не с Божьей (в церковь не ходок!), то с сыновней помощью. Он собирался жить крепко, как и подобает трудолюбивому крестьянину (а если и не получается пока, так ведь семья какая — один-то надорвешься!). Но теперь-то год от году будет легче, хоть к старости облегчит долюшку жены, измученной работой да заботушкой о детях. А тут еще и он тюрьмой своей нехстати добавил ей седин... Подальше бы от этих дел! До добра не доведут!

Он уходил в работу с головой, а работа, даже самая тяжелая и грязная, была ему в привычку, как лошади оглобли...

Наступил семнадцатый...

В конце февраля—начале марта горожане были взбудоражены ветром ворвавшимися в город слухами: войска в столице перешли на сторону восставшего народа, создано Временное правительство во главе с князем Львовым...

С каждым новым днем слухи обрастали немислимыми подробностями: император Николай отрекся от

престола, великий князь Михаил Александрович последовал его примеру...

Оживилась и затаившаяся было в ожидании развязки столичных событий губерния. 5 марта в Тобольске освобожден от должности губернатор Н.А. Ордовский-Танаевский, и через несколько дней губернским комиссаром Временного правительства назначен председатель Тобольского временного комитета общественного спокойствия В.Н. Пигнатти... Василий Николаевич, защитивший в девятьсот десятом Кузьму Илларионовича!

В марте в Березове, как и по всей губернии, был создан совдеп — Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А в один из теплых первомайских дней Тихон Сенькин (Тихон Данилович Сенькин, орловский рабочий-большевик, за участие в революционных событиях 1905 года в 1906-м сослан в Обдорск, оттуда в 1909-м переправлен в Березов, где его и застали события 1917 года), кивнув приветственно при встрече, приостановился.

— Слышал новость-то, Кузьма Илларионович?

— Что за новость, Тихон?

— Троцкий в Петрограде!

— А кто он... Что? Откуда?

Сенькин рассмеялся:

— Как же ты запамятовал, Кузьма Илларионович, кого с Федором Рошковским вызволил из ссылки в девятьсот седьмом? Вот он и есть тот самый! Только что из-за границы!

— И кто же он теперь? В каком чине-должности?

— В большом, Кузьма Илларионович. В большом, если не в главном! И он себя еще покажет. В полный рост!

— Ишь ты, — хмыкнув, бормотнул Кузьма Илларионович. — Всюду старые знакомцы... Что в Петрограде, что в Тобольске.

Так в мае 1917 года в размеренную, спокойную жизнь Кузьмы Илларионовича Коровьи-Ножки неожиданно-негаданно после десятилетнего забвения вернулся из галифакского «плена» пламенный вождь и трибун, автор безумной идеи «мирового пожара», супертеррорист начала века Лев Давидович Бронштейн-Троцкий...

Пройдет еще немного времени, и Кузьма Илларионович станет смотреть на разворачивающиеся в стране события его, Троцкого, глазами, следить за каждым шагом твердой и стремительной поступи кумира...

А пока, вполуха улавливая отзвуки событий, он решал семейные проблемы. Александр окончил городскую школу, и на учительском совете было решено сменить ему фамилию на более благозвучную — Коровин. Впоследствии на новую фамилию переписется вся семья, в том числе и сам Кузьма Илларионович. А не возражал он потому, что подрастали дочери. Старшей, Анне, — двадцать первый год, невеста на выданье, а каково с такой фамилией краснеть перед ребятами? Стыдилась девушка фамилии. И что ни говори, не век же под чужой фамилией ходить, не всему же роду! Родную не вернешь, так хоть чужую чуть облагородить...

Александр окончил школу и поступил учеником на телеграф, но использоваться стал в качестве рабочего по восстановлению линии. А волна столичных беспорядков, демонстраций докатилась и до Березова. Вскоре за участие в забастовке телеграфных рабочих Александра увольняют...

— Тоже бузотер мне выискался тут! — побурчал отец, но внутренне был успокоен: уж кому-кому, а ему-то было хорошо известно, чем кончаются подобные игрища. Сколько на его веку прошло этапами! Побурчал и молвил примирительно, со вздохом: — Ладно, дома помогай, а там... А там посмотрим!

А в столице между тем происходит нечто непонятное даже для все знающего, все понимающего Сенькина. В июле пролилась большая кровь. Правительство сменилось...

Но самое злоеющее состояло в том, что Троцкий вновь в тюрьме, в «Крестах». Впервые чувство страха перед вероятностью нового ареста и суда (чем черт не шутит!) появилось у Кузьмы Илларионовича. А тут еще Корнилов, поговаривали, снялся войском с фронта и пошел на Петроград... На своих же двинулся! Черт знает что творится!

К осени, однако, тучи разметало. Сенькин сообщил:

— Радуйся, Кузьма Илларионович, Троцкий на свободе!

Спустя месяц громом прокатилось-прогремело над Березовым, вызвав суматоху и сумятицу в умах:

— Р-революция свершилась! Вр-ременное свер-ргнуто! Керенский бежал! Ленин в Петрограде! Создано Советское правительство — Совет народных комиссаров!..

— Слышь, Кузьма Илларионович, — новым сообщением встретил Тихон Сенькин. — Лев Давыдыч занял пост наркома! Растут твои знакомцы!

А однажды, как бы между прочим, вдруг поинтересовался:

— Ты, Кузьма Илларионович, сам-то не надумал в партию вступить?

— В какую, Тихон, партию?

— В нашу, разумеется... В РКП(б)! В которой Троцкий!

— Так ведь я в сторонке вроде...

— А это ведь с какого боку посмотреть! Лев Давыдыч с нами, а вот ты — в сторонке... Непорядок это... Троцкий бы, уверен, не возразил против тебя. Надумаешь — дай знать!

...К декабрю Кузьма Илларионович надумал. С победившим Троцким в одной партии как-то поуверенней, поспокойней будет. Добро добром воздастся!

7. Большая кровь. Арест. Еще арест...

«...Власть менялась не по годам, а по месяцам.
Тут уж не до жиру, быть бы живу»
(Из письма Н.К. Коровина от 10.06.78)

Вступление в ряды РКП(б) само по себе каких-либо видимых перемен в жизнь Кузьмы Илларионовича не привнесло. Он и в восемнадцатом году, как в шестнадцатом-семнадцатом, но теперь уже в паре с безработным сыном печничал и даже по причине нехватки кирпича пробовал заняться изготовлением сырца кустарным способом. Словом, жил, как жил всегда, разве что заинтересованнее вслушивался в вести из революционного Петрограда. А вести поначалу обнадеживали: в марте Троцкий был назначен народным комиссаром по военным, чуть позднее — по морским делам. Правда, поговаривали, что не придут к согласию в вопросе о войне и мире... Ну да это дело времени, полагал Кузьма Илларионович, два

большевика — Троцкий да Ильич — уж как-нибудь договорятся.

Но вот созданный в январе Березовский революционный комитет объявил о переходе власти к военнореволюционному комитету. Бывший член ревкома Сенькин возглавил красноармейский отряд. Тревожно на душе, но страха пока нет. Нет потому, что 1—4 апреля состоявшийся в Березове Первый уездный съезд Советов провозгласил установление Советской власти...

И вновь легкое смятение: губернский центр перемещен в Тюмень, а в Тобольске красноармейцами арестован Пигнатти... Вот уж поистине судьба играет человеком! Легкое смятение, но все же не испуг — Василий Николаевич-то вывернется, уж он не пропадет!

Всерьез же испугался Кузьма Илларионович в июне.

К концу мая белочехи взяли Омск, и корпус полковника Р. Гайды двинулся на север: на Ишим и далее — на Тобольск. Декретом СНК от 12 июня объявлена мобилизация в Красную Армию.

Александр захорохорился.

— Бать, я запишусь!

— Я те запишусь! — (Придушенным шепотом). — Я вот запишусь! Ишь, чего удумал!

— Бать, ты же большевик!

— Я тебе побольшевичу! — (С испуганной оглядкой). — Вожжами иль супонью! Так нажгу, что позабудешь... Я сказал: нишкни! И все мне!

14 июня красные оставили Тобольск, а еще через неделю и Тюмень. Власть в губернии перешла к Временному сибирскому правительству во главе с П.В. Вологодским. Оно было создано в Омске и провозгласило Декларацию «О государственной самостоятельности

сти Сибири». В уездах восстанавливались комиссариаты, ликвидированные коммунистами. Тобольск опять стал уездным центром, а губернским комиссаром — В.Н. Пигнатти... На всей территории губернии запрещалась деятельность большевистской партии. Узнав о ликвидации Советов в Тобольске, березовские антисоветчики арестовали членов совдепа, в том числе и Сенькина. В губернии объявлено военное положение. Но пока без стрельбы...

А где-то в стороне, особенно, по слухам, на Урале, лилась большая кровь. Белые и красные объявляют мобилизацию. Брат пошел на брата...

— Нишкни, вояка! Затаись! — шипит Кузьма Илларионович на сына.

Вот когда повздрагивал ночами!

Одна теплилась надежда: в сентябре в Петрограде создан Реввоенсовет, председателем которого стал Троцкий. «Уж он-то не допустит до большой беды. Он доберется до Тобольска-Омска! Порядок наведет!».

Увы, надеждам суждено было не скоро сбыться. В октябре Кузьма Илларионович будет арестован...

Вот что писал по этому поводу припозднившийся с выходом номер газеты «Тобольское народное слово» за февраль 1919 года:

«Нам сообщают из Березова, что недавно там был арестован по доносу добровольцев (вот теперь-то действительно кто-то «настучал» на Кузьму Илларионовича, только вряд ли это был зырянин Никифор — Н.К.) гражданин Коровьи-Ножки только за то, что принимал участие в бегстве Бронштейна-Троцкого из березовской ссылки в 1907 году. Вскоре, по сношению с Тобольском, его выпустили, но семья и несчастная

жертва бескорыстной привязанности к «борцу за свободу» вновь пережили тяжелые минуты...

Нужно быть последовательным, — сообщалось далее в газете, — и привлечь к уголовной ответственности и нынешнего управляющего Тобольской губернией (точнее, губернского комиссара Временного сибирского правительства — Н.К.) В.Н. Пигнатти, защищавшего когда-то на суде гражданина Коровьи-Ножки и способствовавшего смягчению его участи...».

Таким образом, и на этот раз адвокат Пигнатти своим комиссарством невольно «защитил» Кузьму Илларионовича. Но все же избежать тюрьмы ему не удалось.

За наведение порядка взялся адмирал А.В. Колчак. В ноябре военный комиссар Временного сибирского правительства объявил себя Верховным правителем России, а уже в январе 1919 года колчаковский отряд Турнова численностью 250 человек прибыл в Березов из Омска, с комфортом разместился в здании девичьего духовного училища...

Кузьма Илларионович опять был арестован. Надолго и всерьез. Он был виновен уже в том, что «ходил в большевиках»...

Но и на этот раз не суждено ему было сгинуть в тюрьме, как сотням, тысячам расстрелянных, замученных, зарубленных, утопленных с «барж смерти». Будем справедливыми, не станем идеализировать «белое» движение. Белые, как и поныне свидетельствуют десятки братских могил и захоронений на территории бывшей губернии, охваченной огнем братоубийственной войны, зверствовали не меньше, а в иных случаях и гораздо изощреннее, чем красные.

Летом 1919 года Красная Армия перешла в наступление на Восточном фронте. 14 июля красные взяли Екатеринбург, 8 августа — Тюмень. Дивизия под командованием В.К. Блюхера 4 сентября овладела Тобольском, но, наткнувшись на неожиданно ожесточенное сопротивление речной флотилии противника, окончательно смогла взять город только 22 октября.

Вероятно, тогда и были освобождены уцелевшие тобольские узники, но в Березов Кузьма Илларионович вернулся через полгода...

Созданный в районе Демьянска—Увата партизанский отряд П.И. Лопарева (Платон Ильич Лопарев — уроженец села Самарово, участник первой мировой войны, племянник известного в Петербурге и на Обском Севере ученого-византиноведа, историка, палеографа, исследователя древнерусской литературы Хрисанфа Мефодьевича Лопарева. В 1937 году арестован по необоснованному обвинению и расстрелян, в 1957 году реабилитирован) и отряд Скосырева в ноябре без боя взяли Самарово, в декабре, соединившись с Северным экспедиционным отрядом А.П. Лепехина, направленным в район боевых действий с целью подчинения партизанского движения, взяли Березов и Обдорск. Отряд Турнова отступил на север и хорошо укрепился в Саранпауле. Бои с остатками его отряда продолжались до весны. В марте сдавшийся в плен Турнов был расстрелян, а в апреле партизаны и красноармейцы вернулись в Березов...

В июне 1920 года из Иркутской тюрьмы возвратился Тихон Сенькин и возглавил уездный военно-революционный комитет, созданный в Березове еще 2 ян-

варя. Из Тобольска 20 июня вернулся Кузьма Илларионович...

Его ожидали изголодавшаяся семья, возглавляемая не по летам возмужавшим Александром, запущенное хозяйство и жена с помутненным от всего пережитого рассудком.

8. Мятёж

«В воздухе витала смерть...»

(Из письма Н.К. Коровина от 12.04.78)

Не успел Кузьма Илларионович в очередной раз прийти в себя после тобольского заточения, привести в порядок натянутые нервы, успокоить семью, как с юга стала надвигаться новая беда...

Вспыхнувший в Ишимском уезде в январе—феврале 1921 года бунт — «бессмысленный и беспощадный», по-другому и не назовешь, как бы ни хотелось кое-кому из «новых» историков представить его «справедливой крестьянской войной» под лозунгом «За Советы, но без коммунистов», — вспыхнувший бунт в считанные недели переметнулся на северные города и веси Тюменской губернии. Повсюду бунтовщиками производились жестокие расправы над коммунистами, продработниками и членами их семей. На охваченных пламенем бунта территориях объявлялись мобилизации в так называемую Народную Армию, организуемую и хорошо управляемую отнюдь не крестьянами...

6 февраля в губернии введено военное положение, а 21-го Тобольск, с полгода тому назад с невероятными усилиями и большой кровью отбитый у колчаков-

цев, вновь оставлен красными. К марту пожар мятежа приблизился к Березову...

Можно ли было предотвратить развитие событий по наилучшему варианту, избежать огромных жертв как со стороны большевиков, так и со стороны мятежников? Можно. Необходимо было это сделать. Во всяком случае, наиболее дальновидные большевики на местах многое предвидели и пытались исправить положение. Так, в феврале 1921 года тогдашним председателем Березовского уездного исполкома Тихоном Сенькиным сообщалось в Тюменский губисполком, что в уезде дела плохи, как никогда: «Нет мяса, рыбные промыслы есть в очень редких местах, не хватает хлеба, «инородцы» недоедают, и тиф не может прекратиться». Не удивительно поэтому, что на стороне мятежников повсеместно оказывались, по воспоминаниям Лопарева, «лесные жители — остяки и вогулы». И уж слишком запоздало решение X съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом. Будь оно вынесено двумя-тремя месяцами раньше, трагедию удалось бы предотвратить.

Но в феврале—марте 1921 года красные отходили от Тобольска на север, а Березов тем временем готовился к эвакуации семей советско-партийных работников. И здесь большевики не придумали ничего лучшего, как прибегнуть к террористическим, бандитским методам самозащиты. В Березове они взяли в заложники и затем расстреляли 25 человек (по другим сведениям — 22), главным образом из купеческих семей. Только в последние год-два благодаря изысканиям В. Белобородова, А. Петрушина, Л. Набоковой и других югорских краеведов из приоткрывшихся им архивов стали известны имена несчастных жертв...

Эвакуировался и Кузьма Илларионович. Ему, в жизни никогда не занимавшему каких-либо советских и партийных постов, нужно было уходить только потому, что он числился «в большевиках», и только затем, чтобы сохранить жизни членов своей семьи.

Александра рядом уже не было. С момента прихода в Березов в апреле 1920 года красноармейского отряда Лепехина сын работал в военкомате в должности писаря-делопроизводителя. Тогда же он вступил в созданный в Березове Союз молодежи, и его кумиром стал молодой комиссар лепехинского отряда Афанасий Пунтус. Сразу после изгнания из Березова отряда Турнова в здании девичьего Духовного училища, отведенного под клуб, комсомольцами стали устраиваться спектакли. В ходе одной из постановок Пунтус, исполнявший роль, был ранен в щеку выстрелом из револьвера холостым патроном. Несмотря на серьезное ранение (револьвер был приставлен вплотную к щеке), Пунтус нашел в себе мужество доиграть роль, чем и покориł окончательно сердца березовской молодежи. В первых числах января 1921 года Александр вступил добровольцем в отряд, высланный на юг против мятежников. А надломленный неизлечимой болезнью жены Кузьма Илларионович уже не мог повлиять на решение девятнадцатилетнего сына. Главной задачей отца было удержать подле себя рвущегося вслед за старшим братом шестнадцатилетнего Николая...

Эвакуировались двумя группами. Первая под защитой красноармейцев по плану должна была отходить в Обдорск. Вторую — численностью примерно в 50 человек, состоявшую в основном из детей и женщин, в том числе и душевнобольной жены, дочерей (Анна с груд-

ным ребенком), Николая, и уходившую через село Че-
маши на Никита Ивдель (за Уралом), — возглавил Кузь-
ма Илларионович. Помогал ему молодой и энергичный
матрос с зазимовавшего в Березове катера «Орлик» Ге-
оргий Рябинин. Задача состояла в том, чтобы до подхо-
да мятежников «проскочить» Чемаши, расположенное
на Тобольском тракте, и откуда шла дорога на Никита
Ивдель. И это удалось. Расстояние в 150 километров на
лошадях и оленях преодолели за сутки. Избежав встре-
чи с мятежниками, свернули с тракта и через Сарты-
нью, Саранпауль после изнурительного марафона доб-
рались до места назначения. Оттуда по железнодорож-
ной ветке выехали в Екатеринбург, из Екатеринбурга
— в Тюмень, из Тюмени, уже пароходом, прибыли в
Тобольск, взятый красными 8 апреля.

В Березов эвакуированные вернулись только после
того, как все Приобье — от Тобольска до Обдорска —
было очищено от мятежников. Сдав партийную кассу,
порученную ему на сохранение, Кузьма Илларионо-
вич стал думать, как и чем жить дальше. А подумать
было о чем: жена больна, хозяйства нет — разгромле-
но, разграблено за время эвакуации...

А главное — от сына нет вестей.

9. Ошборская трагедия

«Александр был воспитан в духе революционной
ненависти к самодержавию и эксплуататорам...»

(Из письма Н.К. Коровина от 18.04.78)

Тревога усилилась после известия о том, что в селе
Чемаши, благополучно пройденном в конце марта груп-

пой Кузьмы Илларионовича, в апреле был схвачен раненым в ногу и затем казнен мятежниками Тихон Сенькин. Его изуродованный пытками труп впоследствии перевезли в Березов и с подобающими почестями захоронили в центре города на высоком берегу Сосьвы.

В доме Кузьмы Илларионовича стали часто бывать гости. С приезжими из Тобольска советскими и партийными работниками он подолгу вел разговоры, в которые, однако, не допускал домочадцев. Но семья не могла не заметить, что после каждой такой встречи он становился еще более хмурым и замкнутым.

Однажды, будучи особенно расстроенным, во время зашедшего разговора об Александре Кузьма Илларионович вдруг коротко сказал:

— Александра нет. Он убит в бою под Ошворами...

Встал и ушел.

Подробностей гибели Александра семья долго не знала. Но Кузьме Илларионовичу, очевидно, было известно намного больше того, что сказал, однако до конца дней своих он скрывал от родных страшную правду.

До сего времени у краеведов нет единой версии ошворской трагедии. Так, в недавно изданной в Санкт-Петербурге книге бывшей заведующей Березовским краеведческим музеем, ныне жительницы Ярославля Ираиды Шабалиной «Березов» этому эпизоду отведено всего несколько строк, причем весьма неубедительных. Указывается, например, что «отступавший под натиском «кулацко-эсеровских» мятежников в феврале 1921 года отряд», в составе которого «были женщины и подростки из созданного в Березове Союза молодежи, одетые плохо, из оружия на всех 16 берданок, близ деревни

Ошворы был разбит, 36 человек расстреляны и брошены в прорубь».

Восстановим последовательность событий тех дней.

По воспоминаниям Николая Кузьмича, Александр принимал участие в боях под Самарово. Но прибывший из Березова отряд Данилова, в состав которого Александр, очевидно, и входил, совместно с самаровским отрядом самообороны приняв бой с мятежниками у села Реполово, отступил на север. В Березов отряд вошел уже после ухода группы, возглавляемой Кузьмой Илларионовичем, поэтому семья перед эвакуацией с Александром и не увиделась. Здесь спешно перегруппированный отряд расстрелял заложников и 21 марта двинулся дальше на север, прикрывая теперь уже ту, первую, березовскую группу, которой, мы помним, надлежало отступить в Обдорск и в состав которой, разумеется, входили «женщины и подростки из созданного в Березове Союза молодежи». Подчеркиваю: в состав группы эвакуированных, а не в состав красноармейского отряда.

Но березовские власти, принявшие решение об эвакуации группы в Обдорск, по-видимому, не предполагали, что и там 17 марта вспыхнет мятеж. Загадкой остается одно: почему о нем не предупредили отправлявшихся туда эвакуированных? Не смогли? Не успели? Понадеялись на то, что обдорский мятеж легко и скоро будет подавлен? Действительно, он будет подавлен через полторы-две недели, но 1 апреля мятежники вновь возьмут город...

Березовские эвакуированные и бойцы сопровождавшего их отряда, едва приблизившись к Обдорску, вынуждены были в спешном порядке, без передышки, на-

чинать новый отход. В конце марта от Обдорска отступили три отряда. Отряду Протасова предстояло уйти в Ямальскую тундру, отрядам Хорохорина и Сосунова — за Урал. Но отряд Сосунова дошел только до Ошвор...

Летом 1927 года Николай Кузьмич Коровин встретит в Самарово на пароходе окруженного толпой призывников зырянина со следами многочисленных заживших ран на бритой голове. Он представится единственно уцелевшим участником ошворской трагедии и расскажет, как все произошло.

Это случилось в начале апреля (но не в феврале, как считает И. Шабалина). Основная группа измотанных многодневными переходами эвакуированных уже вышла из села, когда в него вошли прикрывавшие их отход бойцы не менее измотанного и обескровленного в боях отряда Сосунова. Заметив, что в окрестном лесу поднимаются столбы дымов, красноармейцы поинтересовались у местных жителей, что они означают. Группа зырянской молодежи, представившейся комсомольцами, объяснила, что это оленеводы жгут костры, и вызвалась охранять отдых бойцов. Те, на беду, поверили и согласились. Тем временем настигшие отряд мятежники, наведенные «зырянскими комсомольцами», окружили село и к ночи напали на спящих. По словам зырянина, погибло не менее 70 красноармейцев и часть оставшихся с ними эвакуированных. Причем схваченных врасплох сперва казнили: кололи штыками, рубили шашками, а затем расстреливали или живыми топили в прорубях. Уничтожили всех. «Недозарубленного», «недозастреленного» зырянина наутро подобрала сердобольная старуха зырянка, спрятала его в бане и выходила.

10. В гостях у наркома

«В 1923 году председатель Реввоенсовета
лично наградил нашего отца»
(Из письма Н.К. Коровина от 12.04.78)

Следует воздать должное Бронштейну-Троцкому: он не забывал «маленьких» людей, оказавших ему посильную помощь в его скитаниях по ссылкам. В книге «Моя жизнь» Лев Давидович тепло вспоминал об одном из таких «маленьких», служившем надзирателем («дежурным помощником») петербургской «предварилки»:

«Один из них, уже пожилой, особенно благоволил к нам. Я подарил ему, по его просьбе, свою книгу и свою карточку с надписью. «У меня дочери курсистки», — шептал он с восторгом и таинственно подмигивал... Я встретился с ним при советской власти и сделал для него, что мог, в те голодные годы».

Помнил Лев Давидович и бескорыстного березовского гражданина Коровьи-Ножки...

«После Октябрьской революции Козья Ножка не скоро узнал, что это именно мне он помог бежать десять лет перед тем. Только в 1923 г. он приехал ко мне в Москву, и встреча наша была горяча. Его облачили в парадное красноармейское обмундирование, водили по театрам, снабдили граммофоном и другими подарками...».

Нетрудно представить себе потрясение 63-летнего Кузьмы Илларионовича, еще не обретшего душевного покоя после трагической гибели старшего сына, уставшего от нескончаемых тревог и треволнений, когда в сентябре 1923 года Тобольская партийная организа-

ция (а в 1923-м Березов отнесен к Тобольскому району созданной Уральской области) оповестила его о том, что он вызывается в Реввоенсовет. Наверняка испытал состояние, близкое тому, что испытывал хорохористый печник, из известного стихотворения Твардовского, неожиданно вызванный к Ленину. Правда, Кузьма Илларионович к тому времени уже знал, что председатель Реввоенсовета — это и есть тот самый молодой красавец в пенсне, которого в девятьсот седьмом году он, можно сказать, вернул революции...

И все же — с тех пор прошло шестнадцать лет! Сколько воды утекло! Сколько самых неожиданных, трагических событий позади! И как порою на глазах неузнаваемо меняются люди! К добру ли вызов? К худу ли? Что там на уме у Троцкого?.. Натерпелся страху.

10 октября Кузьма Илларионович был представлен председателю Реввоенсовета. О том, что «встреча была горяча», мы уже знаем, но о том, что творилось в перепуганной душе «маленького человечка» из захолустного Березова, остается только догадываться...

Позиции Троцкого к моменту встречи с Коровьи-Ножки (к тому времени — Коровиным), то есть к октябрю 1923 года, несколько пошатнулись. От активной политической деятельности отошел Ленин. В июле был ликвидирован наркомат по делам национальностей, и уже до мая 1941 года Сталин занимал пост Генерального секретаря ЦК партии. А ведь еще 24 декабря 1922 года Ленин продиктовал свое «предупреждение»:

«Я думаю, что основным в вопросе устойчивости (ЦК — Н.К.) с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между

ними, по-моему, составляют большую половину опасности... раскола...».

Летом и осенью полем борьбы с Зиновьевым, Каменевым и Сталиным стал анализ известной ситуации в Германии. В сентябре 1923 года Троцкий выступил с резкой критикой положения в партии и стране, подчеркивая опасность отрыва партаппарата от масс и отсутствие твердого курса в экономике...

И все же 44-летний Троцкий был еще в силе и славе.

В этой связи интересно воспоминание бывшего меньшевика Либермана (в публикации Ю. Помпеева), в начале 20-х годов возглавлявшего «Северолес» и часто общавшегося с председателем Реввоенсовета:

«Попасть к Троцкому было гораздо сложнее, чем к Ленину. Приходилось пройти через пять комнат, где у дверей находились щегольски одетые военные. Наконец я очутился перед большим столом со всеми атрибутами стола министра. Передо мной сидел начальник Революционного Военного Совета Троцкий. Во всех его движениях и словах заметно было, что он великий человек. В то время, как от Ленина веяло простотой, от Троцкого исходили холод и надменная формальность».

Еще одна цитата из Либермана:

«Зачесанные назад густые, упрямые волосы, черные с проседью; подстриженная клинообразная бородка; хорошо скроенный полувоенный костюм цвета хаки; высокие сапоги офицерского образца; нервные, с удлиненными пальцами руки; жесткие умные глаза и пенсне. Широкий письменный стол, уставленный множеством всяких письменных принадлежностей, давали почувствовать всякому посетителю пафос дистанции...».

Надо думать, «пафос дистанции» Кузьма Илларионович прочувствовал куда более остро, чем товарищ Либерман. Ибо перед «великим человеком» предстал маленький, в прямом и переносном смысле, человечек (росту в нем было не более полутора метров) на кривых, не гнущихся в коленях от робости ногах, с клинообразной же, но белой жиденькой бородкой, с мягкой щеточкой усов и серыми умными глазами на мертвенно-бледном, окаменелом от волнения лице...

Нам опять-таки остается только предполагать, о чем беседовали эти два человека. Вспомнили, разумеется, общих знакомых: Евсеева, Рошковского, «пройдошу»... Последнего — недобрым словом. Троцкий вкратце рассказал о благополучном завершении тогдашнего побега, Кузьма Илларионович поведал о превратностях судьбы.

Чрезмерно занятый решением архиважных государственных задач, Троцкий позволил себе времени на общение ровно столько, сколько нужно, чтобы не обидеть человека невниманием, но распорядился «показать» Москву, что и было выполнено с честью. Гостю показали и Москву, и магазины, и музеи, и театр... А перед отъездом одарили граммофоном, охотничьим двустольным ружьем, именными часами, комплектом парадного красноармейского обмундирования, в коем он на обратном пути позировал фотографам Тюмени и Тобольска, и позолоченной чашей, которой, в отличие от ружья, суждено будет громко «выстрелить» в тридцать седьмом...

Но главное — вручили удостоверение следующего содержания:

*«Народный комиссар по военным и морским делам.
10 октября 1923 г.*

Удостоверение № 2380.

Предъявитель сего Кузьма Илларионович Коровин — старый друг революционеров, оказывавший им неоднократно крайне важные услуги в смысле побегов из ссылки и прочее. В частности, мой побег из Березова был организован т. Коровиным, который поплатился за это тюрьмой, а позднее, при белых, едва не поплатился жизнью.

Старший сын Коровина убит белыми во время гражданской войны. Прошу всех товарищей, во внимание к заслугам т. Коровина перед революцией, оказывать ему в необходимых случаях содействие.

Председатель Реввоенсовета.

Подпись.

Печать».

Из всех документов отца у Николая Кузьмича останется на память лишь эта пожелтевшая, с подклеенными сгибами бумажка...

11. Низвержение кумира

*«Вскоре после возвращения в Березов отец заболел...»
(Из письма Н.К. Коровина от 21.10.78)*

В то время, когда осчастливленный радушным приемом Кузьма Илларионович возвращался в Березов, а возвращение с торжественными встречами и проводами по всему пути следования затянулось едва ли не на полмесяца, в кабинете председателя Реввоенсовета день ото дня становилось жарче. И атмосферу вокруг себя Троцкий накалял собственноручно — письмами в ЦК.

В одном из них, подписанном за два дня до «горячей встречи» — 8 октября 1923 года, он писал:

«...Объективные трудности развития очень велики. Но они не облегчаются, а усугубляются в корне неправильным партийным режимом; перенесением внимания с творческих задач на внутрипартийную группировку; искусственным отбором работников, сплошь и рядом не считающихся с их партийным и советским весом; заменой авторитетного и компетентного руководства формальными приказами, рассчитанными только на пассивную дисциплину всех и каждого».

Серьезный вызов даже по тем «демократическим» партийным временам!

Более того, 24 октября — не успел Кузьма Илларионович прибыть в Березов, — Троцкий подписал свое второе знаменитое письмо в ЦК. Выражаясь на современном политическом сленге, перешел в решительное «осеннее наступление», навязав оппонентам дискуссию по хозяйственной политике и внутрипартийной жизни. Низовая «партийная масса», естественно, была взбудоражена эдаким дуплетом. Но вскоре объединенный Пленум ЦК и ЦКК РКП(б), рассмотрев вопрос «О внутрипартийном положении в связи с письмами Троцкого», признал его выступления «несвоевременными». Виновник переполоха вроде бы и согласился с такой оценкой, но всего лишь через полтора месяца, 11 декабря, «выстрелил» в газете «Правда» статьей «Новый курс», т.е. опять «полез на рожон»: на этот раз в развитие законченной, казалось бы, дискуссии затронул проблему поколений в партии. Сталин 15 декабря ответил статьей «О дискуссии, о Рафаиле, о статьях Пре-

ображенского и Сапронова и о письме Троцкого». И вновь председатель Реввоенсовета потерпел поражение: в январе 1924 года принятой XIII партийной конференцией резолюцией «Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии» платформа троцкистов была осуждена.

Дальше — больше. Троцкий терпит поражение по всем «фронтам».

11—19 января 1924 года он не смог из-за болезни принять участие в заседании Президиума Исполкома Коминтерна, но вместе с Пятаковым отдал свой голос за тезисы Радека (по вопросу о причинах поражения так называемого «германского Октября» 1923 года). Однако большинством голосов Президиум принял за основу зиновьевскую линию на преодоление «правого уклона» в КПГ...

И июне—июле 1924 года делегаты компартий на V конгрессе Коминтерна практически единодушно осудили троцкистскую оппозицию как «мелкобуржуазный уклон...».

Что же Троцкий? А он после кратковременного перерыва, вызванного, должно быть, необходимостью «отряхнуться» от навешанных на него ярлыков и обвинений и собраться с мыслями после поражения в непрерывных дискуссиях «горячей» осени двадцать третьего и не менее «горячих» зимы и лета двадцать четвертого, в сентябре, находясь в Кисловодске, «выстрелил» дерзкой статьей «Уроки Октября», в которой безоглядно нарывался на новый скандал: поднял вопрос о полусоглашательской тактике Каменева и Сталина в феврале—марте и о поведении тех же Каменева с Зиновьевым в октябре семнадцатого года! И это в то вре-

мя, когда в центре дискуссии партии стоял вопрос о «социализме в одной стране», т.е., по существу, терпела поражение его знаменитая стратегия «перманентной революции»...

В конце концов случилось то, что по всем правилам и условиям политической борьбы и должно было случиться: в январе 1925 года Пленум ЦК партии освободил Троцкого от должности председателя Реввоенсовета.

Подковерные интриги всех более-менее значительных кремлевских перемещений как в прошлом, так и в настоящем современнику, вероятно, так и не удастся распутать до конца, да и, слава Богу, далеко не каждого они интересуют, но в нашем случае любопытно утверждение по поводу отстранения Троцкого от власти доктора исторических наук Н.А. Васецкого. В своем предисловии «Л.Д. Троцкий: политический портрет» к книге Льва Давидовича «К истории русской революции» он пишет:

«В борьбе с Троцким — в нарушение Устава партии — в Политбюро и ЦК создавались компактные группы, которые, прежде чем вынести вопрос на обсуждение полномочного органа партии, принимали по нему решение в своем узком кругу. Так, в 1923—1925 гг. были созданы сперва «тройка» (Сталин, Зиновьев и Каменев), затем «семерка» (шесть членов Политбюро — Сталин, Каменев, Зиновьев, Рыков, Томский, Бухарин, то есть все, кроме Троцкого, и плюс еще председатель ЦКК ВКП(б) Куйбышев), представлявшие тайное Политбюро. Имелись и кандидаты в такое Политбюро — Молотов, Калинин, Рудзутак, Дзержинский и другие».

Не могу сказать, из каких источников вытекает данное утверждение Васецкого, но в этой связи не таким уж и абсурдным покажется заявление самого Троцкого, содержащееся в секретном письме в Политбюро ЦК ВКП(б) и в Президиум ЦКК от 4 января 1932 года из Кадыкея в публикации Ю. Фельштинского:

«...Вопрос о террористической расправе над автором настоящего письма ставился Сталиным задолго до Туркула (Троцкому сообщили, что бывший генерал русской армии А.В. Туркул планировал организовать на него покушение — Ю.Ф.): в 1924—1925 гг. Сталин взвешивал на узком совещании (подчеркнуто мной — Н.К.) доводы «за» и «против». Доводы «за» были ясны и очевидны. Главный довод «против» был таков: слишком много есть молодых самоотверженных троцкистов, которые могут ответить контртеррористическими актами.

Вопрос в 1925 году был снят; как показывают нынешние события — только отложен...».

Так или иначе, но менее чем через два года — в октябре 1926-го — Троцкий будет выведен из состава Политбюро...

Еще через год — в октябре 1927-го — исключен из состава ЦК ВКП(б)...

14 ноября — в десятую годовщину Октября — из членов партии.

В начале 1928-го окажется в новой — алма-атинской — политической ссылке...

18 января 1929-го — коллегия ОГПУ примет решение о высылке Троцкого за пределы СССР...

Все это произойдет после 1925 года. А в конце 1923-го—начале 1925 гг. Кузьма Илларионович Коровин

после каждого известия об очередном выпаде кумира все более мрачнел и съеживался...

12. Смерть

«Мой отец был безбожником...»

(Из письма Н.К. Коровина от 10.06.78)

А в Сибирь неиссякаемым потоком шли ссыльные...
«Республика не может быть жалостлива к преступникам, — писал еще в 1921 году в ЦК РКП(б) «Железный Феликс». — Ими должны заселяться пустынные, бездорожные местности — на Печоре, в Березове, в Обдорске и прочих».

Если б только преступники! Недобитки-мятежники, к примеру, к которым у Кузьмы Илларионовича не было ни жалости, ни сострадания. Вставший под ружье не может уповать на милость.

Но если до семнадцатого года ему было ясно, что политические, следовавшие в ссылку, к каким бы партиям они ни принадлежали, — враги самодержавия, и точка, то после семнадцатого стало непонятно, почему члены тех же партий оказались вдруг по разные стороны баррикад с победившими самодержавие большевиками. На его глазах шли в Сибирь этапами кадеты и эсеры, меньшевики и анархисты, дашнаки, мусаватисты...

«Что там происходит?». Со всевозрастающей тревогой Кузьма Илларионович вслушивался в отзвуки нешуточных кремлевских баталий. Он не знал, не понимал да и в силу недостатка образования не мог вникнуть в завуалированные от «широких партийных масс» истинные причины происходящего в Москве...

В январе 1924-го умер Ленин.

После назначения на должность председателя Реввоенсовета Республики М.В. Фрунзе тихо, по одному, смещены со своих постов все соратники Троцкого...

Звезда кумира закатилась.

И как мужичок «рассудительный», сметливый, Кузьма Илларионович интуитивно предугадывал, к чему может привести борьба с Троцким и с теми, кого с недавних пор повсеместно стали называть «троцкистами». Не кончится ли тем, что вслед за сосланными ранее пойдут большевики? «Правый» большевик сошлет в Сибирь большевика «неправого»? Кто скажет, кто заручится, что в ссылку или в тюрьмы не пойдут «троцкисты»? И он, Кузьма Илларионович, окажется в их числе. А как же не окажется, если и бумажка на руках от Троцкого. С подписью. С печатью. И ружье дареное. И граммофон. И ваза... Не отговоришься, не отвертишься. Вот ведь угораздило не вовремя отметить! То-то и в райкоме кое-кто уже посматривает косо, как Ямзин в девятьсот десятом... А ведь все свои, знают как облупленного!

Что, если страхи не напрасны? И помощь Троцкому в седьмом году, и суды-аресты, и поездка в Реввоенсовет — все обернется доказательствами его несуществующей вины. А что натерпелся, нахлебался до ноздрей, жену довел до умопомрачения, старшего сгубил в этой мясорубке — кто примет в зачет?

«Матерь пресвятая Богородица, даром, что безбожник, на колени встану — спаси и сохрани... Спаси и сохрани мя, грешного!».

Летом 1925 года Кузьма Илларионович умер.

У гроба с телом «друга революционеров» был выставлен почетный караул из коммунистов и комсомольцев. Похоронили Кузьму Илларионовича рядом с большевиком Тихоном Сенькиным на высоком берегу Сосьвы, где, по свидетельствам краеведов, в петровские времена стояли пушки. Менее чем через десять лет к этим двум могилам добавится третья — братская, в которой будут похоронены жертвы так называемого «казымского восстания».

...А о том, как «выстрелила» подаренная в 1923 году Троцким позолоченная чаша, рассказала в своей книге «Березов» И. Шабалина. Чаша в тридцатые годы каким-то образом оказалась в райкоме партии и использовалась там в качестве пепельницы. С точки зрения энкавэдэшников, повсеместно выискивавших в то время затаенных троцкистов, более доказательной улики против тогдашнего секретаря райкома партии Степанова нельзя было и придумать. Пришлось ему поплатиться за «очевидную связь» с троцкистско-зиновьевским блоком.

13. P.S.

«В день смерти отца возник пожар,
угрожавший уничтожением городу»

(Из письма Н.К. Коровина от 12.04.78)

По поводу совпадений дат дня своего рождения с днем Октябрьской революции (25 октября) и года своего рождения с годом рождения будущего непримиримого оппонента Сталина (1879) Троцкий когда-то высказался, что, в отличие от «мистиков и пифагорейцев»,

не видит особого смысла в этих чисто случайных совпадениях и потому не придает им значения.

И он по-своему прав.

Как по-своему прав и тот, кто, не будучи мистиком и пифагорейцем, все же усмотрит в череде несчастий «революционной» поневоле семьи Голицына—Коровьи-Ножки—Коровина некий мистический смысл возмездия сыновьям за грехи отцов, а в пожаре, возникшем в Березове в день смерти Кузьмы Илларионовича, — если не символический отсвет несбывшегося, к счастью для человечества, «пожара мировой революции», то, дай-то Бог, символ очистительного огня.

Комментарии

Прыжок с закрытыми глазами. Написан в 1996 году. Напечатан в газете «Тюмень литературная» (1997. № 1), в еженедельнике «Литературная Россия» (1997. 14 ноября), в альманахе «Эринтур» (Ханты-Мансийск, 1999. № 4. С. 144–149), в журнале «Сибирское богатство» (Тюмень, 1999. № 1. С. 14–17).

Старинный городской романс. Написан в 1989 году. Напечатан в газете «Тюменские известия» (1993. 29 мая).

Изоша Поперешный. Написан в 1994 году. Напечатан в газете «Тюмень литературная» (1995. № 4), в альманахе «Эринтур» (Ханты-Мансийск, 1996. № 1. С. 261–265).

Ночной грибник. Написан в 1997 году. Напечатан в газете «Тюмень литературная» (1997. № 4), в альманахе «Эринтур» (Ханты-Мансийск, 1999. № 4. С. 149–157), в еженедельнике «Литературная Россия» (1999. № 17).

Песня в чужом городе. Написан в 1991 году. Напечатан в газете «Тюменские известия» (1993. 19 июня),

в коллективном сборнике «На семи холмах соцветие» (Москва: Унисерв, 1995. С. 49–54).

Время поворота солнышка на лето. Написан в 1998 году. Напечатан в еженедельнике «Литературная Россия» (1998. № 25, 19 июня), в альманахе «Эринтур» (Ханты-Мансийск, 1999. № 4. С. 157–163).

Прости, капитан. Написан в 1999 году. Напечатан в еженедельнике «Литературная Россия» (2000. 18 февраля).

Малыги. Написан в 1996 году. Напечатан в журнале «Югра» (1996. № 11. С. 31–33), в альманахе «Эринтур» (Ханты-Мансийск, 1996. № 1. С. 262–260).

* **Миф о чистой воде.** Написан в 1988 году.

* **Бывает!** Написан в 1985 году. Напечатан в коллективном сборнике «Действуйте по обстоятельствам» (Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1987. С. 18–35).

* **Отголосок.** Написан в 1984 году. Напечатан в коллективном сборнике «Действуйте по обстоятельствам» (Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1987. С. 3–9), в газете «Ленинская правда» (1988. 20 февраля), в еженедельнике «Грань» (1998. № 18). Включен в хрестоматию: Литература Тюменского края: Кн. 2./ Сост. Г. Данилина, Н. Рогачева, Е. Эртнер. (Тюмень: СофтДизайн, 1996. С. 207–212).

Знаком * обозначены произведения, включенные в сборник «Чужая музыка» (Тюмень: Рутра, 1994).

* **Костя—Мариша.** Написан в 1984 году. Напечатан в коллективном сборнике «Действуйте по обстоятельствам» (Свердловск, Средне-Урал. кн. изд-во, 1987. С. 9–18). Включен в хрестоматию: Литература Тюменского края: Кн. 2. /Сост. Г. Данилина, Н. Рогачева, Е. Эртнер. (Тюмень: СофтДизайн, 1996. С. 212–220).

Все перевернут. Написан в 1987 году. Отрывок из «Переписки пенсионерки Шипицыной» из первоначального варианта рассказа под заглавием «Хлопотное дело» напечатан в газете «Ленинская правда» (1989. 9 февраля). Полностью напечатан в еженедельнике «Литературная Россия» (1999. 30 апреля), в журнале «Сибирское богатство» (Тюмень, 1999. № 1. С. 12–14), в газете «Литературная Югра» (2000. 4 мая).

* **Чужая музыка.** Написан в 1987 году. Напечатан в журнале «Крестьянка» (1988. № 11. С. 32–34).

* **Коршун.** Написан в 1991 году. Напечатан в журнале «Югра» (1992. № 4. С. 52–54).

Камышинцы (Цикл):

* **Письмо без приветов от Кирилла.** Написан в 1984 году. Напечатан в газете «Ленинская правда» (1985. 23 марта). Включен в хрестоматию: Литература Тюменского края: Кн. 1. /Сост. Г. Данилина, Н. Рогачева, Е. Эртнер. (Тюмень: СофтДизайн, 1996. С. 238–240). Последняя публикация — в еженедельнике «Грань» (1997. № 50).

В 1998 году отмечен специальной премией Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря за

лучший короткий рассказ по итогам литературного конкурса им. Валерия Королева, объявленного еженедельником «Грань» (г. Коломна Московской области).

* **Крестный Мишки Сурина.** Написан в 1984 году.

* **Отпустило!** Написан в 1985 году. Напечатан в газете «Тюменская правда» (1985. 26 октября). Включен в хрестоматию: Страна без границ: Кн. 2./Сост. Н. Горбачева, Н. Рогачева. Тюмень: СофтДизайн, 1998. С. 385–387. — (Серия «Российская провинция от Карского моря до Приишимских степей»).

* **Пальяновы талины.** Написан в 1984 году. Напечатан в газете «Ленинская правда» (1984. 17 ноября).

* **Товарищеский суд.** Написан в 1985 году. Напечатан в газете «Тюменский комсомолец» (1986. 16 мая).

* **Свистун.** Написан в 1985 году. Напечатан в газете «Тюменская правда» (1993. 31 марта).

* **Не в щетке дело.** Написан в 1991 году. Напечатан в газете «Новости Югры» (1993. 23 января).

Коллеги. Написан в 1985 году. Напечатан в газетах «Тюменская правда» (1985. 31 декабря), «Ленинская правда» (1987. 26 сентября), в альманахе «Эринтур» (Ханты-Мансийск, 1996. № 1. С. 265–268).

* **Фролыч и Болтун.** Написан в 1989 году. Напечатан в журнале «Югра» (1992, № 4. С. 54–56).

* **Единица экономии.** Написан в 1991 году. Напечатан под заглавием «А знаете ли вы?» в газете «Тюменская правда» (1993. 13 ноября).

Котеньку задрали. Написан в 1995 году. Напечатан в еженедельнике «Литературная Россия» (1997. 31 января).

Возмездие, или Версия жизни и смерти гражданина из города Березова Коровьи-Ножки: Документальное повествование. Написано в 1998 году. Отрывки напечатаны в газете «Тюмень литературная» (1998. № 7–8), в журнале «Мир Севера» (1998. № 5–6. С. 81–88). Полностью напечатано в журнале «Лукич» (1999. Ч. 1. С. 10–41), в журнале «Нева» (1999. № 10. С. 149–166).

Оглавление

В. Захарченко. О рассказах Николая Коняева 4

Песня в чужом городе

Прыжок с закрытыми глазами	14
Старинный городской романс	23
Изоша Поперешный	36
Ночной грибник	44
Песня в чужом городе	57
Время поворота солнышка на лето	66
Прости, капитан!	77

Отголосок

Малыги	86
Как Малыга-дед уехал на войну	88
Как Малыга к тестю за мясом ходил	92
Как Малыга со мною здоровался	95
Миф о чистой воде	100
Бывает	117
Отголосок	136
Костя—Мариша	144
Все перевернут	153
Чужая музыка	164
Коршун	178

Камышинцы (цикл)	
Письмо без приветов от Кирилла	184
Крестный Мишки Сурина	187
Отпустило!	189
Пальяновы талины	193
Товарищеский суд	195
Свистун	199

Единица экономии

Не в щетке дело	202
Коллеги	206
Фролыч и Болтун	211
Котеньку задрали	218
Единица экономии	222

Возмездие,

или Версия жизни и смерти гражданина

из города Березова Коровьи-Ножки	227
1. Голицын, да не тот?	231
2. Повстанец или уголовник?	234
3. Накануне	236
4. Как это было	240
5. Первый арест	245
6. Смута	248
7. Большая кровь. Арест. Еще арест... ..	253
8. Мятеж	258
9. Ошворская трагедия	261
10. В гостях у наркома	265

11. Низвержение кумира	269
12. Смерть.	274
13. P.S.	276
<i>Комментарии</i>	278

КОНЯЕВ Николай Иванович

ОТГОЛОСКИ-ОТЗВУКИ

Рассказы

и документальное повествование

**Книга издана по заказу
комитета по СМИ и полиграфии ХМАО
(Тюменская обл.)**

**Художник А. Кухтерин
Операторы ПЭВМ А. Батурин, П. Терев и Н. Нохрина
Корректор Т. Назырова**

**Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.**

**Сдано в набор 20.08.2000 г.
Подписано в печать 21.09.2000 г.
Формат 70x108/32. Гарнитура «SchoolBook».
Печать офсетная. Бумага офсетная №1.
Тираж 2000. Заказ №2715.**

**Предприниматель Мандрика Ю.Л.
Лицензия ЛР № 065834 от 23.04.98 г.**

**Адрес для переписки: 625003, г.Тюмень, а/я 501.
Тел. (345-2) 25-12-84.
e-mail: mandrika@sbtx.tmn.ru
<http://www.tmn.ru/~mandrika>**

**Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГИПП «Зауралье».
640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.**

В 2000 г. в краеведческой библиотечке журнала
«Лукич» будут изданы:

Городцов Петр Алексеевич. Были и небылицы Тавдинского края: В 3 томах.

Это первое издание фольклора, записанного судебным следователем по Тобольской губернии П.А. Городцовым (1865–1919). В первые два тома вошли сказки, рукописи которых хранятся в фондах Тюменского областного краеведческого музея и Российского государственного архива литературы и искусства.

В третий том вошли, в основном, этнографические работы собирателя.

Сулоцкий Александр Иванович. Сочинения в трех томах. Т.1. — О церковных древностях Сибири; Т. 2. — О сибирском духовенстве; Т. 3. — Тобольская губерния в лицах.

Это первое издание историка, оставившего огромное наследие: описание церквей и икон Тобольской губернии, биографии архиепископов, а также жизнеописания известных личностей того времени, так или иначе связанных с Сибирью.

Ядринцев Н.М. Сочинения.

Два подготовленных к печати тома возвратят читателю раритетные издания известного автора: «Сибирь как колония» и «Сибирские инородцы, их быт и современное положение».

Книги можно заказать с годовой или полугодовой подпиской на журнал по адресу:

625003, г. Тюмень, а/я 501.

Тел. (345-2) 25-12-84.

e-mail: mandrika@sbtx.tmn.ru

<http://www.tmn.ru/~mandrika>

**НА СКЛАДЕ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМЕЮТСЯ:**

Патканов С.К. Сочинения в двух томах/Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень, 1999. Т.1. 400 с.; Т.2. 320 с.

Это первое послереволюционное (1917 г.) издание работ этнографа и статистика С.К. Патканова.

Путешествия по Обскому Северу: Краткое описание о народе остяцком, сочиненное Григорием Новицким в 1715 году. Описание живущих Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедцов, сочиненное студентом Васильем Зуевым/Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень, 1999. 240 с.

Кастрен А. Сочинения в двух томах/Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень, 1999. Т.1. 256 с.; Т.2. 352 с.

Словцов П. А. Письма из Сибири 1826 г.; Прогулки вокруг Тобольска в 1830 году. Тюмень, 1999. 256 с.

Кузнецов Е.В. Сибирский летописец. — Тюмень, 1999. 368 с.

Буцинский П.Н. Сочинения в двух томах/Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень, 1999. Т.1: Заселение Западной Сибири и быт ее первых насельников. 328 с.; Т.2: Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск. 328 с.

Книги можно заказать с годовой или полугодовой подпиской на журнал по адресу:

625003, г. Тюмень, а/я 501.

Тел. (345-2) 25-12-84.

e-mail: mandrika@sbt.tmn.ru

<http://www.tmn.ru/~mandrika>

ISBN 5-93020-075-0



9 795930 200750

65-00

X



73112004
Окружная библиотека



Ханты-Мансийск соединил в себе все, что так или иначе было близко и дорого Николаю Коняеву: полудеревенская-полугородская жизнь маленького провинциального городка, крепкий вольнолюбивый люд, прошедший сталинские перековки, сорванный с земли, сосланный, перемешанный на этапах и в лагерях, но в огне не горящий и в воде не тонущий, верящий: неправда сильна, да правда вечна!

ISBN 5-93020-075-0



9 795930 200750

В. Захарченко